Авенариус Василий
Гоголь-гимназист



Гоголь-гимназист

Первая повесть биографической трилогии

Глава первая

Дамоклов меч и расстрига Спиридон

Начало действия настоящего рассказа — минут двадцать до полудня 12 декабря 1823 года; место действия — отделение грамматистов французского языка гимназии высших наук князя Безбородко в городе Нежине, Черниговской губернии.

Но что такое были эти отделения «грамматистов»? Хотя девятилетний курс Нежинской гимназии и состоял из девяти годичных классов: шести гимназических и трех университетских, — но такое деление касалось одних только научных предметов. По языкам воспитанники делились на шесть отделений, совершенно независимых от научных классов, а именно: на принципистов (обучающихся началам языка), грамматистов (обучающихся этимологии), синтаксистов, риторов, пиитов и эстетиков (обучающихся эстетике по классическим образцам); причем для получения аттестата об окончании полного курса достаточно было по языкам пройти четыре отделения.

Таким образом, на уроке грамматистов французского языка, с которого начинается наш рассказ, помещались мирно рядом равноуспешные в этом языке ученики второго, третьего, четвертого и даже пятого класса научного курса.

В числе этих-то пятиклассников был и сидевший на задней скамейке четырнадцатилетний подросток, бледнолицый, с задумчиво-апатичным взором, с нависшими на лоб длинными белокурыми волосами и с острым ястребиным носом. По гимназическим спискам он значился Николаем Гоголем-Яновским; товарищи же и преподаватели называли его попросту Яновским. Ни тем ни другим, разумеется, и в голову не могло прийти, что из этого необщительного, ленивого и телом и духом человечка, напоминавшего о себе другим разве какой-нибудь не совсем безобидной шалостью, выработается великий писатель-юморист.

Пока профессор, Жан Жак Ландражен, а в нежинском переводе Иван Яковлевич Ландражин, молодой еще француз, со свойственной его нации живостью и даже с увлечением толковал сидевшим перед ним на передней скамье лучшим ученикам сухие грамматические правила, облекая их для большей вразумительности в разговорную и повествовательную форму, — на задней скамье между Гоголем и соседом его, Риттером, воспитанником 4-го класса, шел вполголоса совершенно посторонний разговор.

— Ну что же, барончик? — говорил Гоголь. — Или храбрости не хватает? А еще Ritter, остзейский лыцарь!

— Храбрости у меня хватит и не на такую штуку, — отвечал Риттер, голубые глаза навыкате и пухлые розовые щечки которого, однако, гораздо более напоминали вербного херувимчика, чем закаленного в бою рыцаря. — Но за что же обижать Ландражина? Он всегда вежлив с нами, никогда не бранится…

— И колами награждает!

— А тебе бы, небось, четверки, когда и в зуб толкнуть не знаешь? [1]

— Перестанете ли вы трещать, господа? — тихонько укорил болтунов сидевший по другую руку Гоголя приятель его, четырехклассник Прокопович, здоровенный малый с густым румянцем во всю щеку, за что получил от Гоголя прозвище «Красненький».

— Годи, годи, мое серденько, сам еще с нами насмеешься, — отозвался Гоголь и обратился снова к Риттеру: — вот что я тебе скажу, Мишель: коли угодишь в потолок над самой его макушкой, можешь взять, так и быть, за чаем мою булку; а промахнешься, так отдашь мне свою. Идет?

— Идет, — сдался наконец Риттер, и достал из стола заранее разжеванный кляксопапир и заостренное гусиное перышко.

Но бумажная жвачка успела уже пересохнуть и не давала хорошенько протолкнуть себя перышком. Риттер сунул ее себе в рот.

— Вы что это, Риттер, закусывать изволите? — окликнул его вдруг профессор.

Вопрос был сделан, как всегда, по-французски. Прибыв в Россию из Франции в 1812 году с Наполеоновской армией, Ландражен не вернулся уже на родину, а пристроился в могилевском губернском правлении помощником переводчика; вскоре же, найдя более выгодным педагогическое поприще, он стал преподавать свой родной язык сперва в частных домах, а потом и в учебных заведениях. С 1822 года он состоял младшим профессором французской словесности в Нежинской гимназии, а также и хранителем гимназической библиотеки, которую старался пополнять, конечно, только французскими книгами. Благодаря этому, многие воспитанники, охотники до чтения, говорили уже свободно по-французски. Гоголь, хоть и любивший читать, но одни русские книги, и Риттер, ничего никогда не читавший, не принадлежали к числу этих знатоков французской речи и потому отвечали профессору всегда по-русски. Ландражен им в этом не препятствовал: на нет и суда нет, — но отметками их, понятно, не баловал.

На оклик профессора, Риттер проворно вынул изо рта свою жвачку и привстал с места.

— Я ничего, Иван Яковлевич.

— Слышали вы, что я сейчас объяснял?

— Слышал-с.

— Так повторите.

Риттер безмолвствовал.

— Вы, может быть, и слышали, да не слушали. Покажите-ка сюда вашу тетрадку.

— Я, Иван Яковлевич, забыл ее в музее.

«Музеями» назывались рабочие залы пансионеров, где они готовили уроки к следующему дню, и помещались вместе с классными комнатами во втором этаже гимназического здания.

— Эта забывчивость у вас просто хроническая, — заметил Ландражен. — Ну, что, если бы все вы, 200 человек, забывали этак свои тетради?

— А вот сейчас высчитаем, что бы из сего вышло, — сказал Гоголь и стал как бы считать по пальцам: — по 4 урока в день, это составило бы на 200 человек 800 тетрадей, а в год 800, помноженные на 365 или, для краткости, на 300, — 240 000! Легко сказать: проверить 240 000 тетрадей! Лучше уж прямо в гроб ложись и помирай.

Ландражен несколько раз порывался остановить школьника, и наконец топнул ногой и громко крикнул:

— Eh bien, [2]Яновский!

Точно речь шла не о нем, Гоголь с видом недоумения огляделся по сторонам: кого, дескать, это разумеет профессор.

— Гоголь-Яновский! — повторил тот. — Что вы оглохли или забыли свою фамилию?

— Так это вы *меня*называли Яновским? — с наивным удивлением спросил школьник и неспешно приподнялся.

— А то кого же?

— Родовая моя фамилия — Гоголь; а Яновский — только так, приставка: ее поляки выдумали.

Молодой профессор чуть-чуть улыбнулся.

— Но сосед ваш, Риттер, например, откликается и на такие приставки, — сказал он: — сколько мне известно, он простой остзейский *фон*, а вы величаете его и *бароном*.

— О! у него, как у милого ребеночка, этих ласкательных имен хоть отбавляй: барончик Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Мишель-Дюсенька, Хопцики… А у испанцев он величался бы Дон-Мигуэль-Перец-Аликанте-Малага-Херес-де-ла-Фронтера-Экстра-ма-дура-дель-Азинос-комплетос.

При всем своем благодушии, Иван Яковлевич не выносил слишком большой фамильярности со стороны учеников. Он коротко призвал шутника к порядку и затем обратился снова к своим грамматическим разъяснениям. Но не прошло минуты времени, как с задней скамьи,

через головы впереди сидящих, взвился в вышину самодельный метательный снаряд и пристал к потолку, как раз над профессорской кафедрой.

Из уважения к любимому профессору молодежь во время шутливого разговора с ним Гоголя сдерживала еще свою веселость: теперь на всех скамьях разом зафыркали, заржали. Если бы Ландражен сам и не догадывался, в чем дело, то устремленные на одну точку потолка взоры воспитанников выдали бы ему, где искать разгадку. Он поднял голову и вспыхнул: над самым теменем его повисло на жвачке перышко, продолжавшее еще колебаться. Он быстро встал и спустился с кафедры.

— Это *вы*опять отличились, Риттер?

Черные угольки глаз самолюбивого француза метали такие искры, что у Риттера душа в пятки ушла.

— Нет-с, это не я-с... — запинаясь, пролепетал он.

— Не вы? правда?

— Правда-с... Ей-богу!

— Эх ты, горе-богатырь! Еще божится! — вполголоса попрекнул его Гоголь, а затем произнес громко: — Это я, Иван Яковлевич.

— Вы, Яновский? Скажите на милость, что это такое?

Гоголь взглянул в вышину, куда был грозно направлен указательный палец молодого профессора.

— Это — Дамоклов меч, le sabre de Damocles.

Кто-то хихикнул, но огненный взгляд профессора в сторону смешливого словно ожег весь класс. Все кругом виновато замерло, можно было бы расслышать полет мухи.

— Говорят не «le sabre», а «le glaive» или «l'epee de Damocles» — счел нужным поправить ученика Ландражен и кстати тут же привел цитату из Беранже:

«De Damoklès l'épée est bien connue;

En songe, à table, il m'a semblé la voir...» [3]

Затем не столько уже с досадой, сколько с грустью прибавил:

— Дамоклов меч висит — точно, но над вашей же головой!

В это время из коридора донесся звонок, возвещавший большую перемену. Ландражен махнул рукой и повернулся к выходу; но на пороге еще раз обернулся и кивнул головой на потолок:

— Уберите-ка это, господа.

Пока приятель Гоголя, Прокопович, отличавшийся если и не особенным прилежанием, то благонравием, взлез на кафедру, чтобы снять с потолка неуместное украшение, сам Гоголь в толпе товарищей вышел в коридор, куда высыпали уже воспитанники и из других классов. «Дамоклов меч» дал обильную пищу для общих споров и пересудов. Одни обвиняли самого «барончика» как за его шалость, так еще более за выказанную затем трусость; другие взваливали главную вину на подстрекателя, Яновского, потому что барончик-де не выдумал бы пороха, если бы даже был самим Бертольдом Шварцем.

— Яновский и так ведь взял уже вину на себя, — вступился за приятеля Прокопович.

— Это не оправдание, это только смягчающее обстоятельство! — с важностью вмешался тут в разговор семиклассник — «студент» — Бороздин-первый, приземистый, но плотный, круглолицый юноша, остриженный почти наголо, отчего лицо его казалось еще круглее. — Мне жаль, главное, Ландражина: он — душа-человек и вел себя в этом случае, как вы сами, господа, говорите, со всегдашним благородством и тактом...

— Ну, да, да! — перебил его пятиклассник Григоров, самый отъявленный школьник. — Но тебе-то что до нашего семейного дела, расстрига Спиридон? В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

— Во-первых, я не расстрига, а студент и сын полковника, — вскинулся Бороздин; — во-вторых, зовут меня не Спиридоном, а Федором, как вам всем и без того известно. Ярлыки, которые навешивает нам Яновский, часто вовсе неостроумны.

— Ну, на свой-то тебе нечего жаловаться: по Сеньке и шапка, по фляжке — ярлык. Поглядись-ка в зеркало: чем ты не расстрига? Так ведь, господа?

— Так! Так! — со смехом подхватило несколько голосов.

— Мы, трое братьев, стрижемся под гребенку по примеру отца... — начал было объяснять «расстрига».

Гоголь, до сих пор молча прислушивавшийся к пересудам товарищей, принял как будто его сторону:

— А по писанию: чти отца и матерь свою. К тому же, господа, нынче он ведь именинник, а обижать именинника грешно.

— Как именинник?

— Да ведь какое сегодня число?

— Двенадцатое декабря.

— Ну, а это — день ангела Спиридона.

— Поздравляем, Спиридонушка, поздравляем! Дай ручку пожать! Не будет ли угощенья? — посыпались на «именинника» с разных сторон незаслуженные насмешки.

— Meine Herren, zu Tisch! zu Tisch! [4]— раздался по коридору звонкий тенор надзирателя — немца Зельднера, и гимназисты веселой гурьбой повалили к лестнице, ведущей в нижний этаж, где помещалась столовая с кухней, а также канцелярия, квартиры главного гимназического начальства (попечителя и директора), лазарет и церковь.

— Тебе, Яновский, это так не сойдет! — бросил Бороздин на ходу Гоголю.

— И тебе тоже, — был ответ.

Со стороны Бороздина сказано было это едва ли серьезно: eitfy, «студенту», строить какие-либо каверзы против гимназиста, а тем более «фискалить» по начальству совсем не пристало. Но Гоголя, видно, подзадорила угроза студента, и, всегда уже молчаливый, он за обедом очень неохотно отвечал на расспросы сидевшего рядом с ним лучшего друга своего, Данилевского. Последний, также пятиклассник, обогнал его однако во французском языке, состоял уже в числе «синтаксистов» и потому не был свидетелем ни сцены своего друга с Ландраженом, ни стычки его с Бороздиным.

— Ты мне объясни все толком, — говорил он. — Судя по тому, что мне передавали другие, ты, братец, кругом неправ.

— Неправ медведь, что корову съел, неправа и корова, что в лес зашла.

И Гоголь уткнулся опять в тарелку. После же обеда, когда остальные пансионеры разбрелись по своим «музеям» «для свободного приготовления к послеобеденным классам без обременения вольности отдохновения» (как значилось в их школьном регламенте), он, поднявшись также по лестнице на второй этаж, но не дойдя до своего музея, остановился у окошка, выходившего в великолепный, но занесенный теперь снегом казенный сад, и так углубился в свои мысли, что даже не слышал, как сзади подошел к нему опять Данилевский.

— О чем задумался, Никоша? — спросил тот. — Верно, замечтался уже о весне, когда можно будет снова гулять по этим тенистым аллеям…

Гоголь загадочно улыбнулся.

— Мои мечты гораздо прозаичнее и ближе, — проговорил он: — я мечтаю о сюрпризе для дорогого именинника, о золотом яичке на серебряном блюдце.

— Для какого именинника? Для Бороздина?

— Для Спиридона, да.

— Да что он тебе сделал, скажи пожалуйста?

— Что сделала ласточка стрелку, который бьет ее налету? Я стреляю ласточек тоже не из-за них самих, а чтобы проверить меткость своего глаза.

— Ну, и какую пулю ты отлил на эту ласточку? Мне-то, другу, можешь, кажется, поверить.

— А молчать ты умеешь?

— Умею.

Гоголь потрепал любопытствующего по плечу и лукаво подмигнул одним глазом:

— Хорошо, брат, делаешь. И я тоже умею.

После чего повернулся к нему спиной и оставил его стоять с разинутым ртом.

Глава вторая

Как была подстрелена ласточка

Дружба между обоими завязалась еще с раннего детства. Отцы их, прошедшие вместе Киевскую духовную академию, жили и впоследствии не особенно далеко один от другого: от Яновщины, или Васильевки, имения Гоголей-Яновских, до Семеренек, имения Данилевских, было не более 30 верст. О первой встрече своей с Сашей Данилевским в памяти Гоголя сохранились следующие подробности: когда Саша, совершенным еще малюткой, был привезен впервые своим отцом в Васильевку, сам он, Николаша, лежал больной в постели, так что с маленьким гостем мог играть только Ваня (младший брат Гоголя), причем оба усердно угощались клюквой, которой Саша никогда раньше еще не едал. В 1818 году все трое были отданы в Полтавскую гимназию, где пробыли вместе два года. Но тут Ваня захворал и умер; Никоша был взят домой и затем, в августе 1821 года, помещен во вновь открытую в Нежине гимназию высших наук князя Безбородко. Туда же, год спустя, перешел и Данилевский. Здесь дружеские отношения двух однолетков и одноклассников возобновились, и с глазу на глаз они звали друг друга по-прежнему *Никошей*да *Сашей*, как называли их дома «свои».

— Естественно, что Данилевского более, чем кого-либо из других гимназистов, должно было интересовать «золотое яичко», которое готовилось Гоголем «имениннику». По живости своего нрава, в противоположность флегматику Гоголю, охотно участвуя не только во всех играх, но и в школьнических проделках товарищей, Данилевский относился более критически к скрытым затеям своего друга, нередко, как сказано, выходившим за пределы невинной шутки, и не раз уже выручал проказника-тихоню от заслуженного наказания. Сегодня он также нашел нужным не упускать его из виду и стал издали наблюдать за ним. Гоголь, очевидно, решился немедля привести свой таинственный план в исполнение. Пройдя в музей, он открыл там свой шкапчик (у каждого пансионера имелся в музее свой собственный шкапчик вышиной в полтора аршина, окрашенный белой краской), достал оттуда два листа рисовальной бумаги и скляночку гуммиарабика, присел к своему столу и стал склеивать листы краями.

«Гм, значит, карикатуру опять намалюет», — сообразил Данилевский.

Но друг его свернул уже свой двойной лист трубкой и вышел обратно в коридор, а оттуда на лестницу, чтобы подняться на третий этаж, где находились спальни. Войдя в спальню своего — «среднего» — возраста (воспитанники делились на три возраста), он воззвал нараспев:

— «Ой, Семене, Семене,

Ходи, серце, до мене!»

На зов его, как по щучьему веленью, тотчас показался с другого конца спальни дядька Симон.

Симон был специальным дядькой Гоголя. В первое время по открытии Нежинской гимназии, учебное начальство было в большом затруднении приискать достаточное число надежной прислуги и потому не препятствовало воспитанникам иметь при себе дядек из своих крепостных людей. Так и старик Симон, состоявший до тех пор дворовым поваром в Васильевке, попал в Нежин дядькой к своему панычу. К новым обязанностям своим он отнесся со всею беззаветной преданностью, какой в те патриархальные времена отличались крепостные «хороших» господ, к числу каковых бесспорно принадлежали и родители Гоголя. В начале пребывания в Нежине, когда дичок-паныч сильно тосковал еще по родному дому и, ложась спать, всякий раз, бывало, заливался слезами, Симон целые ночи напролет просиживал на табурете у изголовья плачущего и шепотом урезонивал безутешного, но обыкновенно достигал своей цели только при помощи припасенной на всякий случай «бонбошки». Понемногу мальчик, правда, обжился в чужой обстановке; но Симон, это единственное наличное звено, связывавшее с родительским домом, был

ему по-прежнему «свой человек», которому без оглядки можно было доверять самые конфиденциальные поручения.

— Что треба панычу? — недовольным тоном спросил Симон. — Знать, все бонбошки опять вышли? Денег у меня ни гроша уже не осталось, — лучше и не проси.

— В одном кармане сочельник, в другом чистый понедельник? Старая, брат, песня! — сказал паныч, отмахиваясь своим бумажным свертком. — Дело теперь не в бонбошках, а вот в чем: достань-ка аршин и смерь мне сию штуку.

Но тут он заметил заглядывавшего к ним в дверь Данилевского.

— Э-э! ты чего там подсматриваешь? Не гляди, душенька! Ну, прошу тебя!

Данилевский отретировался; но когда, немного погодя, Гоголь прошел обратно в музей, друг его отправился на поиски Симона. Нашел он его в нижних сенях около кухни за какой-то столярной работой: наколов топором из доски четыре бруска и обтесав их, старик вымеривал теперь аршином каждый брусок, а потом стал прилаживать их один к другому. На полу около него стоял ящик с гвоздями и разными столярными принадлежностями.

— Ты что это, Симон, рамку для паныча мастаришь? — спросил Данилевский: — не по твоей, небось, поварской части?

Симон исподлобья сумрачно покосился на вопрошающего, обтер рукавом пот, выступивший на лбу от непривычной работы, и забрюзжал в ответ:

— Смастеришь тут! Ступай, батюшка, ступай, еще простуду схватишь: сени-то ведь не топлены.

В это время хлопнула дверь со двора и вошел к ним в сени один из сторожей, Кондрат, или, по местному говору, Киндрат, заведывавший осветительными материалами гимназии.

— А что, братику Киндрате, — обратился к нему Симон, — не найдется ль у тебя на мой пай три-четыре огарочка?

— Отчего не найтись, — отвечал Кондрат. — А на что тебе?

— Стало, надоть. Уважь.

— Да ты наперед скажи: на что?

— Ввечеру узнаешь.

Старик был крепко упрям, и добиваться от него чего-нибудь больше, очевидно, ни к чему бы не повело.

— Добре, — сказал Кондрат, — Зайди ужо на кухню.

И Данилевский со своей стороны счел уже бесполезным допытывать ворчуна-дядьку, тем более, что и без того догадывался, к чему клонится дело.

От 2-х до 4-х часов у гимназистов были два послеобеденных урока. Сегодня первый из этих уроков был опять «сборный» для «грамматистов» другого иностранного языка — немецкого. Временно этот язык преподавал профессор Михайла Васильевич Билевич, главным предметом которого были «политические науки»; но так как он, будучи уроженцем Венгрии, получил воспитание в Пештском университете и знал хорошо так же немецкую словесность, то, впредь до приискания подходящего преподавателя, ему были поручены и уроки немецкого языка. Был он человек средних уже лет, характера тяжелого, раздражительного, строгий педант и в общении своем с учениками представлял совершенный контраст с добряком Жан-Жаком Ландраженом: этот никогда не доводил дела до директора, тогда как у Михайлы Васильевича не проходило недели, чтобы директор, а то и педагогическая конференция не получали от него письменного рапорта о том или другом провинившемся школьнике. Воспитанники перед ним трепетали; но нельзя сказать, чтобы этот трепет отзывался благоприятно на их успехах в немецком языке, к которому они почти поголовно питали неодолимое отвращение.

Сегодня расположение духа Михайлы Васильевича было не хуже, но и не лучше обыкновенного. Шесть человек было переспрошено, и четверо из них стояли уже по четырем углам класса, а против фамилий их в журнале красовались толстые «палки». С каждой «палкой» темные брови профессора сдвигались гуще, и неспрошенные еще воспитанники неотступно следили за взлядом Михайлы Васильевича и гусиным пером в его руке, которым он водил сверху вниз и опять снизу вверх по журналу, намечая себе новые жертвы.

— Гоголь-Яновский! — внезапно раздался голос профессора.

Никто не откликнулся. Билевич поднял голову и зорко из-под нависших бровей обвел глазами ряды учеников.

— Яновского разве нет тут?

— Он не так здоров, — отвечал за отсутствовавшего Данилевский; при всем своем правдолюбии, он взял теперь из-за друга грех на душу.

— Да ведь давеча до обеда я видел его еще в коридоре?

— Галушек, знать, за обедом объелся: мы оба с ним до них большие охотники.

— Ну, так мы для памяти изобразим здесь вам обоим также по галушке, — с сухой иронией произнес профессор и вывел в журнале против фамилий Гоголя-Яновского и Данилевского по сферическому знаку, имевшему, в самом деле, отдаленное сходство с галушкой.

— Да за что же это, Михайла Васильевич, помилуйте! — запротестовал Данилевский. — Может, мы с ним великолепно выучили урок...

— Как великолепно выучил его Яновский, — покажет будущее, до него мы доберемся; а вас мы сейчас проберем по косточкам: пожалуйте-ка к доске.

Данилевскому этого только и нужно было. Он, действительно, хорошо знал урок и, выйдя к доске, ответил на каждый из предложенных вопросов без запинки.

— Гм... — промычал не ожидавший такого результата Михайла Васильевич, обмакнул перо в чернильницу, в нерешительности помахал им с минуту по воздуху и затем, словно нехотя, в одну из «галушек» вставил микроскопическую тройку.

— Вот что я вам скажу, Данилевский, — промолвил он благосклоннее обыкновенного, исподлобья озирая с головы до ног стоявшего перед ним стройного, красивого отрока: — задатки у вас от натуры добрые. Зачем же вы дружите с этим ленивцем Яновским?..

Кровь хлынула в щеки Данилевского.

— Простите, Михайла Васильевич, — сказал он, — но вы, может быть, не знаете, что мы дружны с ним давным-давно, с малолетства, что и отцы наши...

— Слышал. Оставим это. Кто из надзирателей у вас нынче дежурный?

— Зельднер, Егор Иванович.

— Так сходите-ка за ним и попросите сюда.

Надзиратель, очевидно, должен был бы разыскать сбежавшего и доставить его в класс во что бы то ни стало. Надо было предупредить Никошу, который, наверное, корпит теперь над своим «сюрпризом» в музее. Оказался он, действительно, в музее за живописной работой, не имевшей ничего общего с классными занятиями. Увидев входящего, Гоголь накрыл свой рисунок рукавом и с неудовольствием спросил, что ему нужно. Когда же Данилевский рассказал, в чем дело, художник наш прервал его на последних словах:

— Значит, галушка мне уже поставлена? О чем же еще хлопотать? О второй галушке?

— Но Зельднер застанет тебя здесь…

— Не застанет, если ты не найдешь его.

— Но найти его очень не трудно.

— В этом-то и вся задача твоя, чтобы искать его там, где его нет. Ну, будь здоров, уходи, пожалуйста! Не то, право, не поспею.

И верный друг пошел искать надзирателя там, где его не было. А тут наступила пятиминутная перемена, и ученики «сборного» немецкого урока разбрелись по своим «научным» классам. Не дождавшись ни Данилевского, ни Зельднера, профессор Билевич, по выходе из класса, сам передал, что нужно, ходившему по коридору надзирателю, и тот не замедлил разослать дежурных сторожей за Яновским. С тяжелым сердцем живописец должен был оторваться от своей работы и плестись в класс, где предстоял еще последний урок — географии. Но едва только преподаватель этого предмета, Алексей Михайлович Самойленко, переступил порог класса, как Гоголь незамеченный проскочил в коридор. Здесь однако он тотчас наткнулся на надзирателя.

Егор Иванович Зельднер, в полном смысле слова аккуратный немец, исполнял свои надзирательские обязанности с примерным рвением. По регламенту, воспитанники должны были во время рекреаций говорить между собой либо по-немецки, либо по-французски, смотря по тому, кто состоял при них дежурным: надзиратель-немец или француз. И Егор Иванович в первые месяцы службы очень строго наблюдал за тем, чтобы в его дежурство говорили только по-немецки, а ослушников подвергал установленной каре, оставляя их без чая или сладкого блюда. Но что поделаешь с этими варварами, «mit diesen Barbaren», если они ни аза не смыслят по-немецки? Поневоле приходилось самому ломать язык и мешать благородную родную речь с варварской. Еще менее, конечно, виноват был Егор Иванович в том, что природа наделила его высоким тенором, переходившим в крикливый фальцет, сухопарой фигурой на несоразмерно-длинных, с кривизной ногах, на которых он шагал, как на ходулях, отнюдь не классическим профилем, водянистого цвета глазами и ершистой шевелюрой, которая не поддавалась ни гребню, ни щетке.

Как бы то ни было, но, по милости своей ломаной русской речи, необычного тембра голосовых струн и еще более необычной внешности, Зельднер, при всем служебном усердии, не пользовался, к сожалению, у воспитанников надлежащим авторитетом.

— Wohin, wohin, mein Lieber? [5]— задержал он Гоголя, когда тот хотел было шмыгнуть мимо.

— Да у меня, Егор Иванович, ужасно зубы болят… — сочинил тут же Гоголь, хватаясь рукой за щеку, и состроил при этом такую жалкую мину, что простак-надзиратель дался в обман.

— Верно от сладостей, — заметил он не то с укором, не то с соболезнованием. — Ведь вы большой лакомка!

Мы избавляем читателей от неправильных оборотов немецко-русской речи надзирателя и приводим только ее точный смысл.

— Увы и ах! Кто перед богом не грешен! — виновато вздохнул Гоголь. — И вы ведь, Егор Иванович, кажется не прочь иногда пососать леденьчик. Не угодно ли-с?

Он достал из кармана пригорошню леденцов. Егор Иванович неодобрительно покачал головой, однако не отказался, взял леденец, развернул из бумажки и препроводил в рот.

— Возьмите еще, — предложил Гоголь.

— Разве одну штучку…

— Берите все! Бог с ними: один соблазн! Ой-ой, как заныл опять, проклятый! Пополощу тепленькой водицей…

— Halt! halt! [6] — пронесся по коридору звонкий голос надзирателя вслед удирающему школьнику.

Удалось ли бы еще Егору Ивановичу, несмотря на свои ходули, настичь беглеца, — неизвестно. Но Гоголю встретилось непредвиденное препятствие в лице самого директора гимназии, Ивана Семеновича Орлая, который как раз в это время появился из боковой двери и остановил его за руку:

— Куда?!

С Иваном Семеновичем шутить не приходилось. Знал это Гоголь еще до гимназии: у Орлая имелся маленький, в шесть душ, хуторок в Полтавской губернии, недалеко от Кибенец, имения малороссийского магната Трощинского. В доме-то последнего, приходившегося родственником Марьи Ивановны Гоголь (матери Никоши), семейство Гоголей и познакомилось с будущим директором Нежинской гимназии. Не то, чтобы Орлай был чересчур строг или придирчив, — о, нет! — напротив: крутые меры он принимал только в крайнем случае, предварительно до мелочей разобрав дело; входил в положение и большого и малого, но особенно покровительствовал обездоленным и слабым, ободряя, поощряя их и словом и делом. Этим он снискал себе общую любовь; а общее уважение заслужила ему, кроме того, его необычайная начитанность и ученость. С такими духовными качествами

вполне гармонировала и его внешность: представительная, осанистая, выше среднего роста фигура, важное, благообразное лицо и изысканная опрятность и аккуратность в одежде (он всегда был в свежем белом галстухе и даже дома у себя никогда не надевал шлафрока). Правда, что темперамента он был очень горячего, как это нередко встречается у натур прямодушных и благородных, не переносящих неправды и каверз; правда, что, враг всякого беспорядка, он был очень требователен и в пылу гнева хватал больших школяров за ворот, а мальньких за ухо, — но никому и в голову не приходило обижаться этим: коли это делал Иван Семенович, сам «Юпитер-Громовержец», как прозвали его воспитанники, то стало быть так и надо было.

— Ну-с, что же? — спросил Орлей, не получая ответа от Гоголя, у которого язык не повертывался повторить директору басню, столь доверчиво принятую надзирателем.

Но подоспевший между тем Зельднер не замедлил доложить по-немецки «его превосходительству» («seiner Excellenz»), что «вот, у Яновского разболелся зуб, — и немудрено, потому что он вечно носит с собой полный карман леденцов…»

— Но Егор Иванович был сейчас так добр, что избавил меня от них, — досказал Гоголь.

Егор Иванович смутился и начал было оправдываться, но леденец, которой он еще не дососал, мешал ему говорить.

— Schon gut! [7]— коротко прервал его директор и обратился снова к воспитаннику: — Испорченный зуб, мой милый, лучше всего с корнем вон.

— Он у меня уже не болит! — поспешил уверить Гоголь, испугавшись, как бы решительный во всем Иван Семенович не послал сейчас за цирюльником, который в гимназии исполнял обязанности зубного врача. — Я забыл сказать вашему превосходительству, что маменька прислала мне письмо. Она поручила мне засвидетельствовать вам усердный поклон и доложить, что по вашему имению все идет очень хорошо.

— Спасибо, дружок. Будете писать матушке, не забудьте поклониться от меня и поблагодарить. Что тебе? — обернулся Орлай к подошедшему в это время сторожу, и на доклад последнего начал отдавать ему какое-то приказание.

Гоголь не стал дожидаться и с почтительным поклоном пошел своей дорогой. Директору было уже не до него, а у надзирателя не было охоты опять связываться с этим озорником.

Вторым послеобеденным уроком оканчивались классные занятия воспитанников. Время от четвертого до пятого часа давалось им «на свободное отдохновение», от пяти до половины шестого они пили вечерний чай, от половины шестого до половины седьмого повторяли уроки, от половины седьмого до семи употребляли «на приятнейшее и благородно-шутливое препровождение времени — чтение Лафонтеновских басен, слов и выражений гувернером». Собрав затем в музее классные принадлежности к следующему дню, они для возбуждения аппетита делали небольшой моцион на свежем воздухе от половины восьмого до восьми ужинали и после нового небольшого моциона принимались опять за повторение уроков. В девять часов, после вечерней молитвы, они «отходили к постелям для раздевания и положения себя в оныя», чтобы в половине шестого утра снова подняться и к половине седьмого быть уже готовыми к утренней молитве и чаю.

Гоголь вообще чуждался общества своих сверстников и редко когда принимал участие в их шумных сборищах. Сегодня же он был как-то особенно молчалив и сосредоточен, ни слова це проронил, когда «барончик» бесцеремонно завладел у него за чаем выговоренной булкой, и по временам только заносил что-то карандашом на лоскут бумаги; но писанье ему как будто не давалось: он нервно грыз карандаш и, написав пару слов, тотчас зачеркивал опять написанное.

Затем до самого ужина он куда-то бесследно исчез. За ужином он ничего не ел и беспокойно только озирался на выходную дверь. Но вот там появился дядька Симон и подал ему издали какой-то загадочный знак. Паныч мотнул в ответ головой и сообщил что-то на ухо своему соседу. Таинственное сообщение мигом облетело весь стол, и, когда ужин пришел к концу, школьники, вместо того, чтобы идти в шинельную — одеться для вечерней прогулки, взбежали в перегонку на второй этаж, где были классы и рекреационный зал.

— Wohin, wohin, meine Herren [8]— кричал за ними Зельднер, который должен был сопровождать их на прогулке.

Оклик его остался гласом вопиющего в пустыне. Шумной волной все хлынули в рекреационный зал. Лампы здесь были уже потушены; но тем эффектнее выделялся из окружающей темноты среди зала освещенный сзади транспарант. Художник, исполнивший его, очевидно, хорошо пропитал бумагу маслом, потому что цветной рисунок прекрасно просвечивал. Представлял же он дервиша, которого громадными ножницами стрижет рогатый и хвостатый цирюльник; а под рисунком стояло следующее восьмистишие, заглавные буквы которого для

рельефности были выведены красной краской и крупнее обыкновенного:

« **С**е образ жизни нечестивой,

Пугалище дервишей всех,

Инок монастыря строптивый,

Расстрига, совершивший грех.

Иза сие-то преступленье

Достал он титул сей.

О, чтец! имей терпенье

Начальные слова в устах запечатлей.»

— Да ведь это же акростих, господа: «Спиридон»! — раздались кругом восклицания. — Ай-да Яновский! Ну, Спиридонушка, поклонись ему в ножки.

— Вот изволите видеть, ваше превосходительство, вот они, плоды-то! — произнес тут по-немецки позади смеющихся знакомый фальцет.

Гимназисты живо расступились, чтобы пропустить вперед надзирателя и директора.

— Плоды, действительно, еще зелены, особенно вирши, — заметил строже обыкновенного Орлай. — Это, Яновский, ваша мазня?

Отрекаться ни к чему бы уже не повело.

— Моя-с, — сознался Гоголь, который чуял уже надвигавшуюся грозу.

— Из вас, поверьте моей опытности, ни великого художника, ни тем паче поэта dei gratia [9]никогда не выйдет. А дабы вы на досуге могли над сим поразмыслить, вы проведете эту ночь в одиночном заключении здесь же в зале.

— Простите его, Иван Семенович! — неожиданно выступил тут ходатаем за своего обидчика Бороздин. — У нас были с ним маленькие счеты. А я даже рад, что дал случай товарищам посмеяться: меня от этого не убудет.

— В самом деле, Иван Семенович, — подхватил Данилевский, — я знаю Яновского с малых лет: сердце у него доброе. Но у него особенный дар подмечать все смешное, и он не в силах уже устоять…

— Чтобы не написать плохих стихов? — досказал заметно смягчившийся директор.

— Нет, Иван Семенович, у него есть и очень порядочные стихи, — вмешался тут второй приятель стихотворца, Прокопович: — на днях еще читал он мне свою балладу: «Две рыбки».

— Полно, Красненький, я просил ведь тебя молчать, — пробормотал Гоголь.

— Да надо же знать Ивану Семеновичу, что у тебя есть поэтический талант! Баллада его, Иван Семенович, так трогательна, что я даже прослезился.

— Каково! — усмехнулся Иван Семенович. — О чем же она трактует?

— А под «двумя рыбками» он разумеет себя самого со своим покойным маленьким братом Ваней, которого он так любил, что до сих пор забыть не может.

— Гм… Вот что, Николай Васильевич, — отнесся Орлай к Гоголю, которого он, как и некоторых других старших воспитанников, вне учебных часов называл просто по имени и отчеству: — завтра у меня семейный праздник. Зайдите-ка и вы, да кстати захватите с собой свою балладу. Экстренной оказии ради, обед не в час дня, а в половине 5-го. И вас, Федор Корнилович, прошу быть моим гостем.

И Гоголь, и Бороздин отвесили молчаливый поклон «Юпитеру-Громовержцу», который, не упоминая уже об одиночном заключении, поручил надзирателю убрать транспарант и, пожелав всем воспитанникам доброй ночи, спокойно удалился.

Глава третья

У Юпитера-Громовержца

Не в первый уже раз удостоился Гоголь приглашения к директорскому столу. По воскресеньям и табельным дням избранные из гимназистов-пансионеров, не имевших в городе родных, поочередно, партиями человек в пять-шесть, обедали и проводили вечер у Ивана Семеновича, который дома у себя обходился с ними не как начальник, а как любезный хозяин. Гоголь попал в число этих избранных не столько, конечно, из-за своих собственных заслуг, сколько благодаря доброму расположению Орлая к его родителям.

У Ивана Семеновича было 6 человек детей; но из трех сыновей двое старших служили уже в уланах и находились при своих полках. Один десятилетний Мишенька, с осени надевший гимназическую форму, находился еще в родительском доме, также как и его три сестрицы. Младшая из них, Лизанька, и подала на этот раз повод к семейному торжеству: ей исполнилось 13 лет.

Ровно в половине пятого приступили к закуске, а затем разместились чинным порядком за столом, который, по случаю большого числа гостей, пришлось накрывать в зале. Весь учебно-воспитательный персонал гимназии оказался налицо. Одни были во фраках, другие за неимением таковых, — в вицмундирах, но все в белых галстуках, а орденские кавалеры и при орденах. Воспитанники точно так же обменяли свои будничные серые сюртучки на нарядные синие мундирчики с черно-бархатными воротничками. Мишенька Орлай собрал около себя чуть не дюжину своих маленьких сверстников. Гоголь был единственным из пятого класса и имел по одну руку от себя двух «студентов» — семиклассников: Бороздина и Редкина, а по другую — четвероклассника Кукольника и третьеклассника Базили. Бороздин хотя по-христиански и отпустил своему должнику — Яновскому — его грех, но теперь словно и не замечал его присутствия: обернувшись к своему соседу — однокласснику Редкину, — он чуть не с благоговейным вниманием прислушивался к каким-то хитроумным объяснениям его по поводу последней лекции римского права.

Гоголь окончательно отвернулся от двух «студентов» к двум гимназистам, которые классами хотя и были ниже его, но годами почти ровесники с ним. Зато они оба были первыми учениками в своих классах. Кроме того, оба пользовались особенным покровительством Ивана Семеновича еще и потому, что Кукольник был сыном его предместника в должности директора нежинской гимназии, умершего через полгода по ее открытии, а Базили был из семьи эмигрантов-греков, в судьбе которой сам попечитель гимназии, граф Кушелев-Безбородко, принимал живое участие. Не мог Гоголь подозревать, конечно, что Редкин сделается со временем профессором и ректором Петербургского университета, Базили станет известным дипломатом, Кукольник — даровитым писателем, а сам он — бессмертным юмористом.

Теперь у Гоголя было одно на уме — посмешить окружающих, потому что он чувствовал себя «в ударе», и точно: он так удачно подтрунивал то над Кукольником и Базили, то над тем или другим из мальчуганов, товарищей Мишеньки, что с нижнего конца стола до хозяина-директора на верхнем конце то и дело долетали звонкие смешки, и Иван Семенович издали со снисходительной улыбкой кивал головой остряку, а дежурный надзиратель, француз Аман, не переставал призывать его к порядку.

Суп с пирожками, рыба с гарниром и жаркое со всевозможным соленьем и вареньем, как всегда превкусно изготовленные под личным руководством домовитой директорши, Шарлотты Ивановны, были скушаны с равным аппетитом. Но самый любопытный для молодежи момент обеда — дессерт — был еще впереди. Лежавшие перед каждым

прибором чайные ложки свидетельствовали, что предстоит нечто жидкое или полужидкое, не требующее ножа и вилки.

— А ну-ка, братцы, кто угадает, что подадут нам теперь? — спросил Гоголь.

— Мороженое! Воздушный пирог! Варенье со сбитыми сливками! — поднялся кругом оживленный хор ребяческих альтов.

— Стой! Дайте собрать голоса.

— А если кто не угадает?

— Не угадает, так отдает свою порцию.

— Кому?

— Мне, конечно, судье Шемяке.

Мальчуганы хором опять запротестовали. Но с разных сторон ни них зашикали. Оказалось, что старший из профессоров, Билевич, собрался предложить тост.

Постучав ложкой о бокал, Михайла Васильевич с поклоном в сторону хозяина-директора заявил, что, предварительно установленной здравицы за юную виновницу торжества, будет уместно от имени всех присутствующих воздать должное ее досточтимому родителю и притом на благородном диалекте древних римлян, на коем его превосходительство, как истинный ученый, не имеет себе равных. За таким вступлением последовала сама речь. Хотя Гоголь, а тем более семиклассники Редкин и Бороздин были уже посвящены в «диалект древних римлян», но речь, очевидно вперед заготовленная, оказалась настолько цветиста и витиевата, что многое из нее осталось и для них туманным. Общий смысл сказанного, впрочем, заключался в том, что Иван Семенович, сын небогатых, но благородных родителей, узрел свет божий 52 года назад в глухом венгерском городке Густе, и с малых лет отличался неусыпным прилежанием, в коем похвально тщатся подражать ему и присутствующие питомцы, за одним лишь печальным исключением, прибавил оратор, — и брошенный им на нижний конец стола взгляд, остановившись на мгновение на Гоголе, не оставлял сомнения, кто именно был этим исключением.

Из дальнейшей биографии Ивана Семеновича слушатели могли узнать, что он блистательно прошел целый ряд учебных заведений, начиная от низшего народного училища и кончая генеральной Йосефинской семинарией, aliter [10]богословским факультетом пештского университета, а 19-ти лет от роду был уже определен профессором арифметики, географии, истории и двух древних языков в велико-карловскую гимназию высших наук. Слава о нем, как об

образцовом преподавателе, разнеслась далеко за пределы отечества, долетела наконец и до отдаленной невской Пальмиры, и сам кесарь всероссийский, Павел I, вызвал его к себе — научным светочем просвещать погрязшее дотоле во мраке варварства юношество.

— Ohe, jam satis, carissime! — улыбаясь, прервал своего панегириста Орлай, — amicus Plato, sed magis arnica Veritas [11]. Дело было не совсем так. Состоял я, точно, преподавателем разных наук в велико-карловской гимназии, но преподавателем низших классов. Когда же, по конкурсу, я заслужил вакантное место учителя в старших классах, ректор-иезуит отказал мне в нем единственно потому, что я не немец, а русин. По молодости лет я не стерпел: «Хорошо! коли я русин, так и пойду искать счастья на Руси», — и так-то попал в Петербург. А там в это самое время открылась медицинская академия. Я поступил в нее студентом, окончил курс...

— И наиблестящим манером! — досказал Билевич.

— По первому разряду, да; получил звание доктора медицины и хирургии, впоследствии и место ученого секретаря академии, гоф-хирурга и гоф-медика...

— Но истинное призвание вашего превосходительства было все же иное: на должность нашего начальника вы были призваны не как медик, а как образцовый словесник и педагог! И вы вполне оправдали, превзошли ожидания призвавших вас...

— Полноте, любезнейший: я делал только свое дело по совести, как подобает всякому честному человеку.

— Не токмо по совести, но и с достодолжной энергией, ибо радикально очистили сию авгиеву конюшню после злосчастного вашего предместника...

— Тише, коллега, вы забываете об ушах, коим больно это слышать, — вполголоса по-латыни предупредил Иван Семенович, указывая глазами на Кукольника, покойный отец которого, как хорошо известно было всем присутствующим, вследствие неурядиц, возникших не по его вине тотчас по открытии гимназии, впал в меланхолию, сведшую его вскоре в могилу.

— А что, господа, не пора ли поговорить опять и на общепринятом языке? — заявила Шарлотта Ивановна. — От горячих речей ваших мороженое мое совсем, пожалуй, растает.

И точно, слуга уже несколько минут стоял с блюдом мороженого позади оратора.

— Виноват-с! — извинился тот и стал накладывать себе мороженое на хрустальную тарелочку.

Гимназисты были очень довольны вмешательством хозяйки, потому что внимание их было все время гораздо более приковано к сладкому произведению директорской кухни, чем к цветам красноречия Михайлы Васильевича. Одному только Кукольнику не было дела ни до того, ни до другого: достав из бокового кармана какой-то листочек, он украдкой перечитывал его под столом, беззвучно шевеля губами. Когда же теперь Билевич на минуту умолк, Кукольник сорвался со стула, разом покраснел до ушей и, обведя окружающих неуверенным взглядом, стал откашливаться, словно у него запершило в горле.

— А! Нестор Васильевич никак тоже здравицу возгласить хочет? — заметил Орлай. — Но я должен, к сожалению, остановить вас, друг мой: мосье Ландражен уже ранее вас выразил желание сказать пару слов.

Кукольник, как окаченный холодной водой, опустился опять на свое место. — О! я мог бы и обождать, — любезно отозвался по-французски Ландражен, но сам уже приподнялся с бокалом в руке и с поклоном отнесся к «новорожденной». — Мосье Нестор, как начинающий поэт, вероятно, воспоет вас, мадмуазель, звучными стихами, и ему по праву принадлежит финал, апофеоз. У меня же не имеется собственных стихов; я могу только цитировать другого поэта — современного нашего французского Анакреона, у которого, в числе несчетных перлов лирики, есть одна пьеска, точно сочиненная на вас: «La petite fée».

«Enfants, il était une fois

Une fée appelée Urgande» [12]...

Читал Ландражен бесподобно, с тем неподражаемым тонким подчеркиванием и огоньком, которые свойственны одним французам. После рефрена последнего куплета:

«Ah! bonne fée, enseignez–nous,

Où vous cachez baguette!»

он прибавил уже прозой от себя, грациозным жестом указывая на Лизаньку Орлай:

— Вот она, наша маленькая добрая фея: чем, как не своей волшебной палочкой, собрала она всех нас в этот тесный дружеский кружок? Из года в год, изо дня в день приносит она в этот благословенный дом мир и радость; а сама все растет-растет, распускается из бутона, расцвести вдруг настоящей феей. Немудрено, если она заколдует тогда какого-нибудь избранного смертного и, отдав ему руку и сердце, на воздушной своей колеснице, запряженной белыми лебедями, умчится от

нас со счастливцем — куда? Почем я знаю! Покамест же, господа, она среди нас, — будем ее чествовать и славить: да здравствует наша маленькая фея!

«Маленькая фея», не приготовленная, видно, к такому восторженному привету, разгорелась, как маков цвет; но, по молчаливому знаку матери, застенчиво вышла из-за стола с бокалом в руках и начала обходить всех гостей. Когда она добралась так до нижнего конца стола, все гимназисты, как один человек, повскакали со своих мест и принялись наперерыв чокаться с нею. Один только Гоголь не особенно торопился.

— Ай, мое платье! — ахнула Лизанька, которой, при общем столкновении бокалов, целая струя густой вишневой наливки плеснула на новенькое кисейное платьице.

— Позвольте я сейчас обсушу, — сказал галантный кавалер Кукольник и салфеткой стал усердно обтирать на белой кисее тёмно-красное пятно.

— Да вы, Нестор Васильевич, еще больше размажете, — со слезами уже в голосе пролепетала маленькая барышня.

Шарлотта Ивановна, издали заботливым глазом матери следившая за своей любимицей, поспешила к ней на выручку.

— Ничего, мы это сейчас смоем, — успокоила она девочку и увела ее из комнаты.

Сам Кукольник до того оторопел, что когда слуга подошел к нему тут с блюдом мороженого, он отвалил себе на тарелку двойную порцию.

А с верхнего конца стола, из среды профессоров, донесся громогласный оклик профессора «российской словесности», Парфения Ивановича Никольского:

— А у вас, Кукольник, что там приготовлено: тоже стишки?

— Стихи-с...

— Что же вы предварительно мне на цензуру не предъявили? Благо, новорожденная отлучилась, подайте-ка их сюда.

Делать нечего: молодой поэт оставил на столе свою тарелочку с мороженым и направился к взыскательному цензору. Тот принял от него листок и прочел про себя написанное.

— Гм, в общем было бы добропорядочно, — промолвил он, — кабы вы более держались классических образцов.

«Зело, зело, зело, дружок мой, ты искусен,

Я спорить не хочу, но только склад твой гнусен» [13].

— Я, Парфений Иванович, старался подражать Пушкину, стал оправдываться Кукольник.

— Пуш-ки-ну? — протянул, приосанясь, Парфений Иванович. — Которому: дяде или племяннику? Да, впрочем, оба хороши, один другого стоит.

— Простите, Парфений Иванович; но стихи племянника, Александра Пушкина, не мне одному, а очень многим нравятся.

— Стыдно, стыдно, молодой человек! вам и имя-то при крещении как бы нарочито дано классическое: *Нестор*. А вы нашим бессмертным классикам — Ломоносову, Сумарокову, Хераскову — предпочитаете кого? Бог ты мой! Какого-то мальчишку, недозрелого выскочку!

— Но у него, Парфений Иванович, стихи, право, удивительно мелодичны...

— «Мелодичны!» Не в мелодии, любезнейший, дело, а в красоте образов, в возвышенности слога. Где вы найдете у него такую картину утра, как у столпа российских стихотворов, Ломоносова:

«И се уже рукой багряной

Врата отверзла в мир заря,

От ризы сыплет свет румяный

В поля, в леса, во град, в моря.

Велит ночным лучам склониться

Пред светлым днем и в тверди скрыться.»

Или такое описание ночи:

«Открылась бездна, звезд полна;

Звездам числа нет, бездне — дна.»

Всего две строки, кажись, а что за сила, что за глубина!

— Да я и не думаю соперничать с Ломоносовым, — пробормотал Кукольник и, получив обратно от профессора свой листок, скомкал его в руке.

— Что вы делаете, Нестор Васильевич! — укорил его хозяин-директор. — Вы же еще не прочли нам...

Но профессор Никольский одобрил поступок молодого поэта:

— Нет, ваше превосходительство: он сам, очевидно, сознал, что сей плод его музы, как и пушкинские, не совсем дозрел и испортил бы лишь пищеварение истинным ценителям. Дальнейшие плоды, при нашей помощи, будем надеяться, окажутся более удобоваримы.

В конец устыженный, Кукольник с понурой головой поплелся к своему месту.

— А где же мое мороженое? — спросил он.

Перед ним стояла пустая хрустальная тарелочка; но следы сливок на ее дне и на чайной ложке свидетельствовали, что мороженое было тут, да съедено.

— Вот что значит витать в поднебесьи! — сказал Гоголь, с наслаждением гастронома прихлебывая ложечкой с собственной тарелочки полурастаявшее мороженое. — Сам же ведь давеча скушал.

— Кто? Я?

— Смотрите-ка, господа, он уже забыл! Эх ты, Возвышенный!

— Конечно, сам скушал! — подтвердил Мишенька Орлай, и остальная «мелюзга» с веселым смехом дружно его поддержала: — Конечно, сам!

«Возвышенный» свирепо на них покосился и с гордо-обиженным видом молча присел за свою пустую тарелочку.

— Эк ведь надулся, как мышь на крупу, — сказал Гоголь и украдкой подал знак слуге, чтобы тот угостил опять мороженым обделенного.

Между тем у взрослых речь перешла на театральные представления воспитанников, и профессор Никольский сообщил тут хозяину, что у него, Никольского, в примете на сегодняшний день поставить некую трагедию северного Расина — Сумарокова: «Синава и Трувора» или «Дмитрия Самозванца», что и роли у него были уже намечены для старших пансионеров, да вот, к прискорбию, со стороны некоторых коллег встретилось непреоборимое противоборство.

— А жаль, — отозвался Орлай. — Подобное развлечение среди учебных занятий даже полезно, ибо освежает молодые головы. Кроме того, домашние спектакли делают молодых людей несомненно развязнее...

— Даже чересчур! — вмешался в разговор профессор Билевич. — Вон Гоголь-Яновский на прошлой масленице играл, помнится, Еремеевну в «Недоросле», да с тех пор и на уроках ведет себя Еремеевной.

Всем присутствующим, видно, припомнилась игра Гоголя-Еремеевны в комедии Фонвизина, потому что на губах взрослых появилась улыбка, а между гимназистами послышался смех. Сам же Гоголь, при всей

хваленой развязности на сцене и в классе, сделавшись здесь предметом общего внимания, застенчиво потупился.

— Дайте им играть трагических героев, так они, может быть, и на деле станут вести себя героями, — шутливо заметил Ландражен.

— И вправду, Иван Семенович! — подхватил Кукольник, который успел уже ободриться и, как свой почти человек в доме директора, позволял себе иногда вмешиваться в беседу взрослых. — Разрешите нам опять играть на масленой! Заместо классных досок, мы соорудили бы уже настоящие кулисы и поставили бы настоящую классическую трагедию Озерова или Державина.

— Озеров и Державин, милый мой, еще не подлинные классики, не боги, а полубоги российского Парнаса, — поправил Никольский.

— Но озеровский «Эдип в Афинах», Парфений Иванович, разве не классическая пьеса?

— Гм... пьеса изряднехонькая, но лишь полуклассическая. Да и кому же из вас, юнцов, была бы по плечу ответственная роль самого Эдипа?

— А хоть бы Базили: он у нас ведь коренной грек и перечитал в оригинале чуть не всех греческих авторов. Ты, Базили, сыграл бы ведь Эдипа?

— Отчего не сыграть, — отозвался Базили. — Но дозволят ли нам вообще играть?

Между господами педагогами поднялись оживленные прения: допускать ли опять театральные представления в стенах гимназии, так как еще задолго до спектакля молодые актеры за повторением ролей забывают повторять уроки. Но, благодаря вкусным и обильным яствам и питиям, настроение большинства оказалось настолько благодушным, что вопрос был разрешен утвердительно. «Коронной» пьесой был окончательно назначен озеровский «Эдип», а после него, по предложению Орлая, ради практики воспитанников в иностранных языках, положено было поставить по одной небольшой немецкой и французской комедии или водевилю; выбор их предоставлялся профессорам этих языков, а режиссерство — Кукольнику, говорившему свободно на обоих языках.

— В сию статью я не мешаюсь, — сказал Никольский, пожимая плечами. — Но нашей российской пьесы, молодой человек, я не могу вам доверить, как не доверяю вашим собственным виршам.

— А кстати, Парфений Иванович, — с улыбкой заметил тут Орлай: — ведь у нас появился здесь еще второй стихотворец.

— Кто такой?

— А вон Гоголь-Яновский. Николай Васильевич! Прочтите-ка нам теперь ваши «Две рыбки».

Гоголь, уверенный, что директор давным-давно забыл уже про его балладу, и очень довольный, что избегнет таким образом беспощадной критики Парфения Ивановича, был застигнут врасплох.

— Увольте, Иван Семенович… — смущенно пробормотал он.

— Да баллада ведь с вами?

— Да… то есть, нет…

— Нечего вам кобениться, как упрямый жеребенок! — вмешался Парфений Иванович. — Мы все тут и без того знаем, что баллада ваша из рук вон плоха. Но чем плоше, тем лучше: и нам-то веселее, и вам здоровее; как осмеют вас всенародно, так узнаете, по крайности, цену своему непризванному стихотворству.

— Как ни плохи мои стихи, но смеяться над ними я никому не позволю… — дрогнувшим голосом проговорил Гоголь и, с шумом отодвинув стул, стремительно вышел вон из комнаты.

— Одначе! — воскликнул Никольский.

— Это он сгоряча, Парфений Иванович, pro aris et focis [14], объяснил Орлай: — в своей балладе он рассказывает о любимом покойном братце; а кто из нас дозволит смеяться над дорогим нам покойником? Милостивые государи и государыни! последний блин, как видите, вышел комом. Что делать? У лучшей хозяйки бывают такие прорухи. Засим прошу вас в гостиную, куда подадут нам кофе. А вы, Нестор Васильевич, сыграли бы для нашего торжественного шествия маршик.

И под звуки триумфального марша все общество из залы двинулось в гостиную. Кукольник для своих 14 лет играл на фортепиано уже весьма недурно, и за маршем последовала ария из моцартовского «Дон Жуана», а за арией — вальс Ланнера.

Вдруг из залы влетела в гостиную вальсирующая пара: Базили с Лизанькой Орлай. Иван Семенович захлопал в ладоши:

— Браво! Нам, старикам, видно, ничего не остается, как убраться в кабинете.

В кабинете тем временем был уже открыт ломберный стол. Четверо из господ педагогов уселись за бостон, другие сгруппировались вокруг директора-хозяина для оживленной беседы. Оживлению не мало способствовали также разнообразные ликеры собственного изделия

Шарлотты Ивановны. А Кукольник за фортепиано не унывал: когда наступила пауза в танцах, он заиграл « *Gaudeamus*». С первых же звуков все начальство, как один человек, замурлыкало, затянуло старинную студенческую песню. Едва допели, как разошедшийся хозяин крикнул молодому музыканту:

— Ita! Ita!

И тот заиграл с собственными вариации излюбленную директором венгерскую, подпевая:

«Extra Hungariam non est vita,

Si est vita, non est ita...» [15]

Сам Иван Семенович и земляк его, профессор Билевич, вторили вполголоса.

На воспитанников, однако, наибольший эффект произвела известная песенка Беранже: «Le marquis de Carabas», которую, по общей просьбе гимназистов, с неподражаемой игривостью пропел Ландражен. Когда, около полуночи, все распрощались с гостеприимными хозяевами, и молодежь стала подниматься по лестнице на свой третий этаж «для положения себя в постели», Кукольник затянул ту же песенку, очень удачно подражая Ландражену, а товарищи с одушевлением подхватили рефрен:

«Chapeau bas! chapeau bas!

Gloire au marquis de Carabas!» [16]

А Гоголь? Он давно лежал под своим одеялом; но ему не спалось, и он беспокойно поворачивался с боку на бок, по временам лишь тяжко вздыхая.

— Ты о чем это, Никоша? — впросонках спросил его Данилевский, кровать которого отделялась от его кровати только табуретом.

Гоголь притворился спящим и пустил в ответ густой храп.

Не мог же он, в самом деле, признаться, что изорвал на мелкие лоскуточки единственный список своей драгоценной баллады «Две рыбки», которая таким образом навсегда утратилась для потомства.

Глава четвертая

Дошутился

Подходила масленица, а с ней и день гимназического спектакля. На долю Гоголя в озеровской трагедии выпала незначительная роль верховного жреца храма Эвменид, да и той он не мог подучить на зубок:

очень уж тяжеловесны были эти «полуклассические» александринские ямбы. Куда более занимала его сама обстановка театра, потому что, с разрешения начальства, на этот раз имелось в виду пригласить зрителями и живших в Нежине ближайших родственников молодых актеров, и, чтобы не ударить лицом в грязь, ставили «настоящие декорации», а Гоголю, как изрядному рисовальщику, поручили сооружение их и раскраску. Во время рекреаций, когда все прочие гимназисты гуляли, резвились, он не делал ни шагу из запасной классной комнаты, специально отведенной господам актерам, и с редким усердием клеил, малевал.

Раз, впрочем, Данилевский застал его там и за другим делом: Гоголь держал в руках ручное зеркальце и корчил сам себе уморительные рожи.

— Ты что это, Никоша, мимику что ли изучаешь? — спросил Данилевский.

— А то как же? — был ответ. — Ведь коли играть этакого столетнего старикашку, так надо и выглядеть стариком. Вот зубы только мешают: никак не могу добиться, чтобы нос сходился с подбородком, погляди-ка.

Данилевский расхохотался: благодаря крючковатому носу и выдающемуся подбородку, друг его почти достигал уже своей цели.

— Ну что, «изряднехонько»?

— Превосходно! Только вот что я тебе скажу, дружище: ты забываешь, что у верховного жреца должен быть вид строгий, величественный, а у тебя выходит, извини, какая-то карикатура на жреца, замухрышка, над которым не грех и посмеяться.

— Что и требовалось доказать. По крайней мере увидят, что в этакой ходульной пьесе гораздо более комизма, чем трагизма.

— Ничего не увидят, как разве то, что ты не трагик, а комик. Но это и без того нам всем известно.

— По природе-то я не комик, а меланхолик, — серьезно и как бы с оттенком грусти промолвил Гоголь, — ваши товарищеские игры, например, не доставляют мне ни малейшего удовольствия...

— Вот то-то и удивительно, — подхватил Данилевский, — как объяснить себе такое противоречие в твоей натуре? Ставить других в нелепое, смешное положение, напротив, доставляет тебе большое удовольствие.

— Потому что этим я разгоняю свое тоскливое настроение. Да и моя ли вина в том, что у меня есть некоторый дар подмечать все смешное?

— Как бы этот дар не обошелся тебе слишком дорого!

Опасение Данилевского скоро оправдались. Началось дело на уроке у учителя пения, Федора Емельяновича Севрюгина. В гимназическом хоре «для порядка» должны были участвовать все воспитанники, как способные к музыке, так и лишенные музыкального слуха. К числу последних принадлежал и Гоголь. И вот на таком-то уроке хорового пения он взял высокую ноту настолько «мимо», что даже привыкший к таким фальшивым нотам у учеников Федор Емельянович не выдержал.

— Экой вы глухарь, Яновский! — заметил он по привычке нараспев и запиликал на своей скрипице под самым ухом Гоголя. — Пропойте соло.

— «Экой вы глухарь, Яновский! Пропойте соло»! — затянул совершенно под тон ему Гоголь.

Остальные школьники захохотали, учитель же справедливо возмутился.

— Есть ли у вас совесть, Яновский! — вскричал он.

— Совесть-то есть, да голос ее не всегда слышу: глухарь! Что поделаешь?

«У сусида хата била,

У сусида жинка мила,

А у мене ни хатинки,

Нема счастья, нема жинки...» [17]

— Замолчите ли вы! — прикрикнул на неугомонного Севрюгин. — Вы больше не будете петь у меня!

— Никогда?

— Никогда.

— Не знаю, как и благодарить вас, Федор Емельянович...

— Будет вам паясничать! Наши счеты кончены.

Таким образом Гоголь, действительно, навсегда был избавлен от хорового пения. Шалость его так и прошла бы ему безнаказанно, не последуй вслед за ней другая.

Было это на уроке физики у профессора математических наук, Казимира Варфоломеевича Шаполинского. Из всех, профессор Шаполинский пользовался едва ли не наибольшим уважением и симпатией учеников; глубоко преданный своему делу, он излагал свои предметы сжато, точно и почти с юношеским жаром, хотя ему и подходил уже четвертый десяток. Живя бобылем, он вел самый тихий, скромный образ жизни истого ученого; в критические моменты школьного быта отстаивал интересы воспитанников и вообще относился к молодежи с душевной

теплотой и неизменным прямодушием. Ленивых он серьезно журил, а на малоспособных к математическим вычислениям рукой махнул. К таковым принадлежал и Гоголь; но лично к Гоголю Шаполинский выказывал доброе расположение ради его родителей, с которыми был знаком еще с прежнего времени.

Переспросив заданный урок, Казимир Варфоломеевич сошел с кафедры к большой классной доске и вооружился мелом.

— Теперь мы приступим к теории рычага, — объявил он. — Это требует особенного сосредоточения мыслей, и потому прошу, господа, полного внимания.

— Вострубим, братие, яко во златокованныя трубы, в разум ума своего и возвеем мудрости своея! — послышалось с задней скамейки.

Профессор узнал голос школьника.

— Если вы, Яновский, не в состоянии следить за мной, то, по крайней мере, не затрудняйте мне моего дела, — спокойно проговорил он, и, изобразив мелом на доске «идеальный» рычаг, принялся объяснять его теорию.

Объяснение не пришло еще к концу, как донесшийся до слуха Шаполинского с задней скамейки шум от шарканья нескольких ног и скрипа гусиных перьев заставил его оглянуться. Шум исходил от группы мальчиков, стеснившихся около Гоголя.

— Опять вы, Яновский! — сказал он. — Без проказ ни на час.

— Да мы, Казимир Варфоломеевич, проверяем теорию рычага на практике, — отозвался названный, поднимая на воздух свою тетрадь.

— Покажите-ка, что у вас там.

Гоголь вышел к профессору с тетрадью. Тот раскрыл ее и в недоумении пожал плечом: целая страница вдоль и поперек была изрисована одной заглавной буквой D и притом такими каракулями, точно ворона по бумаге прогулялась.

— Вместо того, чтобы стараться вникнуть в слова профессора, вы вот какими пустяками занимаетесь! Уразумели вы хоть кое-что из моего объяснения?

— Кое-что — да-с.

— Так вот вам губка, вот мел. Сотрите мой рисунок и начертите вновь.

Рисовать, как сказано, Гоголь был уже мастер. Одного взгляда на профессорский чертеж ему было довольно, чтобы запечатлеть его в

памяти. Стерев чертеж губкой, он тотчас восстановил его опять мелком с прежней точностью.

— Верно, — сказал Шаполинский. — А дальше что же? Все ли тут у вас, что нужно?

Гоголь задумался.

— Вот видите ли, — с мягким укором продолжал профессор. — В науках, особенно в точных, как физика и математика, верхоглядство хуже полного незнания. Голова, набитая отрывочными, беспорядочными сведениями, подобна библиотеке, к которой ключ утерян. Вы забыли даже, что для объяснения чертежа надо выставить на нем буквы.

— Ах, да!

Гоголь стал выставлять по углам чертежа начальные буквы латинского алфавита: A, B, C; но когда дело дошло до буквы D, правая нога его на полу, словно машинально, пришла во вращательное движение, а правая рука вывела на доске пребезобразное D, наподобие тех, что красовались в его тетради.

— Вы, кажется, даже писать разучились! — возмутился Казимир Варфоломеевич, который, при всем своем благодушии, не выносил «профанации науки».

— А это, знаете, оттого, что в теории рычаг — одно, а на практике — другое, — отвечал Гоголь. — Ведь рука человеческая от плеча до кисти — рычаг? — вы сами нам говорили.

— Рычаг, конечно.

— И нога тоже рычаг?

— Ну, да, понятное дело.

— Так отчего же оба рычага только до тех пор в нашей власти, доколе они действуют дружно, по одному направлению? Лишь только вы пустите их в ход врозь, направо да налево — и конец, стоп машина!

— Я вас, милый мой, не совсем в толк возьму: как так врозь?

— А вот так: верхним рычагом вы выводите на доске букву D справа налево, а нижним производите на полу такое же круговое движение слева направо. И у вас самих, поверьте, буква D выйдет не лучше моей. Не попробуете ли?

Он подал профессору мелок. Чем глубже умудрен человек в научной области, тем он по большей части неопытнее, простодушнее в житейских мелочах. И человек науки поддался на удочку шалуна. Приняв мелок, он

носком правой ноги стал кружить по полу, а правую руку в то же время занес над доской, чтобы начертать размашистое D. Но не тут-то было: рука против его собственной воли двинулась не влево, а вслед за ногой — вправо.

— Вот так штука, — пробормотал про себя Шаполинский и, взяв непослушную руку кистью другой руки за локоть, повторил опыт.

Но, будучи довольно плотной комплекции и вынужденный стоять во время опыта журавлем на одной ножке, он насильственным кружением руки в противоположную сторону от вращающейся ноги вывел себя из равновесия и, пожалуй, совсем его потерял бы, если бы вовремя не ухватился за плечо стоявшего тут же Гоголя. Уважение воспитанников к почтенному профессору было так велико, что послышавшееся было на скамьях легкое пересыпание гороха, невольного смеха тотчас же прекратилось, когда Шаполинский окинул класс не столько гневным, сколько смущенно-укоризненным взглядом.

— Я упустил из виду, — сказал он, — что рычаги нашего тела находятся в некоторой органической связи между собой. Но об этом в свое время. Теперь же позвольте докончить следующий урок.

Отерев платком выступивший у него на раскрасневшемся лице пот, Казимир Варфоломеевич со всегдашней точностью и ясностью стал досказывать урок и окончил его как раз к звонку.

— Поняли, господа?

— Как не понять! — был единогласный ответ.

— И вы, Яновский?

— Да-с.

— Очень рад. До свидания, господа.

— До свидания, Казимир Варфоломеевич.

Этим случай и был бы исчерпан, если бы профессору при самом выходе из класса не вспомнилось еще чего-то, что он нашел нужным добавить к сказанному. Он обернулся на пороге и обомлел: следовавший за ним по пятам Гоголь кружил по полу правой ногой, а правой рукой выводил по воздуху букву D и вдруг тяжеловесно покачнулся, как давеча сам профессор. Очевидно, школьник передразнивал его, и Шаполинский, что случалось с ним очень редко, забылся: схватил своего двойника за оба узеньких плеча и так неистово затряс его, что у Гоголя дыханье сперло, душа в пятки ушла: вот-вот треснет об пол — и дух вон.

— Что я вижу! — раздалось тут около них громогласно. — Что это у вас тут, Казимир Варфоломеевич?

Тот разом пришел опять в себя и выпустил из рук свою жертву. Перед ним стоял сам директор Орлай! Сильно сконфуженный, Казимир Варфоломеевич для собственного уже оправдания вынужден был объяснить причину своей ручной расправы.

— Всему есть мера, Яновский! — загрохотал Громовержец. — На вас за последнее время накопилось столько жалоб со стороны господ преподавателей, что пора, наконец, и итог подвести: сегодня же будет созвана для этого конференция.

— Насмешливость, Иван Семенович, вообще в натуре малороссов, — заступился за школьника добряк Шаполинский, — этим отчасти объясняются его неуместные выходки.

— Объясняются, но не оправдываются. Дурные поступки наши редко являются прямым последствием нашей слабой натуры; по большей части они совершаются по нашей доброй или, правильнее сказать, злой воле. Какого рода несовершенства — природы или воли — сильнее у Яновского, один я не берусь решить и отдаю вопрос на суд конференции.

Глава пятая

Умоисступление или притворство?

Пока воспитанники по окончании послеобеденных уроков, в ожидании вечернего чая, предавались «свободному отдохновению» в рекреационном зале на одном конце соединительного коридора между двумя флигелями второго этажа, — на другом конце того же коридора, в конференц-зале весь учебно-воспитательный персонал собрался на экстренное заседание для решения судьбы одного из них. Естественно, что товарищам подсудимого было очень любопытно знать, что творится за закрытыми дверьми судилища. Поэтому, когда тут, через рекреационный зал, промелькнула к конференц-залу стройная, щеголеватая фигура инспектора, Кирилла Абрамовича Моисеева, молодежь нагнала его, обступила кругом и осыпала вопросами.

— Ничего, ничего, господа, покуда не решено, — уклонился Моисеев, отмахиваясь пачкой бумаги, бывшей у него в руках. — Будут рассматривать еще вот кондуитные списки.

— А! Так это наши кондуиты? Покажите их нам, Кирилл Абрамович! Кто из нас в чем проштрафился?

Должность инспектора в нежинской гимназии не оплачивалась особым жалованьем, а предоставляла исполнявшему ее только казенную квартиру. Так как в те времена квартиры в глухой провинции были вообще крайне дешевы, то Моисеев, молодой еще профессор истории, географии и статистики, принял два года назад должность инспектора не столько из материального расчета, сколько из одолжения к директору

Орлаю, и относился к своим инспекторским обязанностям довольно равнодушно. Во время обеда он, действительно, выстаивал аккуратно около обедающих, чтобы своим присутствием поддерживать между ними некоторый порядок. Но замечаний от него почти никто не слышал, а за пять минут до молитвы он тихомолком исчезал и затем появлялся только на несколько минут в музеях, да в полночь на цыпочках, скрипя своими модными сапогами, обходил дозором спальни. С воспитанниками, особенно двух старших возрастов, он был всегда формально-вежлив, на лекциях своих иногда одушевлялся, любил блеснуть остроумием; но в качестве инспектора как бы нарочно стушевывался, чтобы не вторгаться без надобности в область директора и надзирателей.

— Отчего не показать, — сказал он, развертывая свою бумажную пачку: — взглянуть на себя в этакое зеркало каждому из вас даже назидательно. Об одном только прошу: руки подальше; истреплете мне еще все листы.

Столпившиеся вокруг него гимназисты наперерыв старались заглянуть в «кондуиты» — листы синеватой бумаги, исписанные кругом разными почерками трех надзирателей: отставного капитана Павлова, немца Зельднера и француза Амана.

Школьные провинности и наказания постоянно чередовались и повторялись. «За небережливость казенных книг», «за нерадение к тетрадям», «за неопрятность», «за шум во время чтения евангелия», «за крик во время рисовального класса», «за шалость и грубые шутки», «за неблагопристойность и драку», «за то, что шумел, бранился и давал дулю» — виновные оставлялись без булки, без чая, без одного, без двух блюд, или просто на хлебе и воде, стояли по часу, по два в углу, либо на коленях.

— А что, Кирилл Абрамович, ведь мы, оказывается, стараемся для казны, — заметил один из шалунов.

— Как так?

— Да как же: вон какая экономия, особенно на чае: «без трех стаканов», «без пяти стаканов», «без семи стаканов»! И начальство зело одобряет, ибо прямо так и аттестует «за отлично-дурное поведение».

— А я все же, кажется, всех отличнее, — похвалился Григоров, — мне вон, я вижу, Егор Иванович посвятил целую рацею. Нельзя ли прочесть, Кирилл Абрамович?

— Извольте: «Григоров за насмешки надо мной был поставлен в угол, потом за непослушность я ему приказал стоять на коленях, но он упрямился, не хотел стоять и мне нагрубил удивительным образом; за то он был без ужина, на другой же день без чая и без обеда».

— С подлинным верно, — подтвердил Григоров. — И только?

— Нет, на другой же день тут о вас такой отзыв: «Григоров объявил мне, что он не будет стараться о *хорошего поведения*, и когда он видел, что я ему положенного наказания не прощаю, он начинал, или лучше сказать, продолжал свою грубость против меня, сказавши мне много колких слов, в которых он весьма силен».

— Ну, спасибо Егору Ивановичу: хоть напоследок воздал по заслугам.

— А есть ли здесь что и об Яновском? — спросил Данилевский, который о предстоящей участи своего друга беспокоился, казалось, даже более самого Гоголя.

— Есть, хотя и немного, — отвечал Кирилл Абрамович, — вон тут говорится, что, «Яновский был без чая за то, что занимался во время класса священника игрушками» [18]. Но в тихих омутах, вы знаете, что водится? Однако вы задержали меня, господа: на конференции меня, верно, уже ждут не дождутся. — И, наскоро сложив свои «кондуиты», он удалился.

— А что, братцы, к чему его могут присудить? — принялись толковать меж собой товарищи Гоголя, тогда как сам он за все время хоть бы слово проронил, точно дело шло вовсе не о нем.

— Посадят опять денька на два на пищу святого Антония…

— А то накормят и березовой кашей, — заметил Григорьев.

— Ну, уж это дудки! — вскинулся Гоголь. — В пятом классе об этом речи быть не может.

Но, как он ни храбрился, на душе у него все-таки кошки скребли. Все школьные прегрешения его, в совокупности взятые, могли, чего доброго, вызвать какую-нибудь крупную кару. И предчувствие его не обмануло.

На коридорных часах пробило пять, урочный час вечернего чая. Но, вместо сторожа-«звонаря», колокольчиком еще особо возвещавшего об этом, в рекреационный зал вошли целых четыре сторожа-инвалида: двое тащили простую, длинную скамью, двое других несли каждый по пучку «березовой каши». За ликторами в дверях показалась взъерошенная голова надзирателя Зельднера.

— Ага, Яновский! Кто был прав? — сказал Григоров. — Доброго аппетита!

— Как тебе не стыдно, Григоров! — укорил его Данилевский. — Господа! Уйдемте отсюда, чтобы не быть хоть свидетелями этого позора.

— Уйдемте, уйдемте! — подхватило несколько голосов.

— Господин директор не велел никому уходить! — объявил Зельднер, становясь сам около принесенной скамьи. — А вы, Яновский, ступайте-ка сюда и снимите сюртук. Пожалуйста, без церемонии.

Надзиратель подал ликторам знак — помочь осужденному. Но тот, бледный как смерть, точно прирос к полу.

— Nun, wird's bald? Aber was ist Ihnen, Яновский? [19]

Черты Гоголя внезапно исказились, и он с пронзительным, нечеловеческим воплем грохнулся на пол. Поднялся общий переполох.

— Воды! Воды! — крикнул Орлай, входивший в зал во главе членов конференции.

С выкатившимися белками глаз Гоголь бился на полу и хрипел сквозь оскаленные зубы:

— Бейте меня!., мучьте... режьте... Жила по жиле... капля по капле...

— Оставьте, господа. Не троньте его пока! — говорил Иван Семенович воспитанникам, которые, участливо столпившись около распростертого товарища, хотели приподнять его. — Где же вода-то?

Вода была подана; но едва лишь холодная струя брызнула в лицо Гоголя, как он с прежним диким криком вскочил с пола, схватил поданный кем-то стул и стал размахивать им в воздухе с таким остервенением, что все кругом попятились назад.

— Режьте меня!.. бейте!.. — завопил он и с таким азартом хватил стулом об пол, что отлетела ножка. — Бедная маменька! Бедная, бедная! До смерти замучили единственного сына...

И, скрежеща зубами, с пеной у рта, он снова повалился на пол.

— Отнесите-ка его в лазарет, — приказал Орлай четырем сторожам, и те не без опаски принялись подымать больного с пола. — Осторожней вы, осторожней!

— Со страха, видно, помешался, — вполголоса рассуждали меж собой не на шутку перепуганные наставники и гимназисты.

— От такого наказания хоть кто с ума сойдет! — с горечью заметил Данилевский, которого болезненный припадок друга взволновал более других.

— Ну, теперь вопрос о наказании упразднился сам собой, — сказал Орлай. — Сама судьба рассекла Гордиев узел.

Подобно другим, он ни мало не сомневался во временном умоисступлении Яновского. Как выше уже упомянуто, Орлай был не

только педагогом, но и медиком. Поэтому, хотя по штату гимназии и полагалась должность врача, Иван Семенович, соблюдая казенные интересы, а также из любви к искусству, сам лечил и воспитанников и служащих, — разумеется, безвозмездно. Единственным помощником ему в этом деле служил лазаретный фельдшер Евлампий, по прозванию Гусь, заслуживший эту кличку как за свою неутолимую гусиную жажду, так и за свои огромные красные лапищи и непомерно раздувшийся лиловый нос, напоминавший, впрочем, не столько гусиный клюв, сколько зрелую сливу. Дело свое, однако, Гусь знал хорошо. С привычной расторопностью раздев бесноватого, он уложил его в постель и намотал ему на голову пропитанное уксусом полотенце, между тем как сам Иван Семенович изготовлял какую-то микстуру.

— Выпей-ка, друг мой, — отеческим тоном говорил Орлай, поднося к губам больного ложку с лекарством. — Это вас успокоит.

Попав в постель, Гоголь и без того уже угомонился и лежал пластом на спине с закрытыми веками, со стиснутыми зубами. Хотя по щекам его текли обильные струйки уксуса, щекоча своим резким духом его обоняние, но он, словно в забытьи, на слова директора даже не пошевельнулся.

— Придется насильно влить, — решил Иван Семенович. — Зажми-ка ему ноздри, Евлампий.

Одна из красных лап самым добросовестным образом исполнила приказание начальства. Чтобы не задохнуться, Гоголю волей-неволей пришлось разжать рот, и лекарство моментально отправилось по назначению. Но оно, должно быть, было куда невкусно, потому что больной с омерзением процедил сквозь зубы:

— Фу!

— Никак в себя приходит? — заметил Орлай. — Николай Васильевич! голубчик! как вы себя теперь чувствуете?

— Как завороченный внутрь дикобраз, который проглотил ежа, — отвечал Гоголь, по-прежнему не открывая глаз.

— Гм! — усмехнулся Орлай. — Юмор вас, я вижу, еще не оставил: это — добрый знак. Через полчаса, Евлампий, ты напоишь молодого человека ромашкой с шалфеем. Да накрой его еще двумя одеялами, чтобы хорошенько пропотел. А микстуру давай каждый час. Да надолго смотри у меня, не отлучайся из лазарета!

— Помилуйте, ваше превосходительство! Когда же я?..

— Когда горло опять пересохнет. Точно я тебя, гуся лапчатого, не знаю.

— Помилуйте-с... в кои веки раз... Уж будьте благонадежны. Но ежели они снова взбесятся? Мне одному ведь не управиться.

— Так кликнешь кого-нибудь из сторожей. Да вот и господин Высоцкий не откажется, конечно, пособить, буде нужно.

Последние слова относились к единственному в то время, кроме Гоголя, пациенту — пансионеру 7-го класса Высоцкому, который постоянно страдал глазами и потому целые недели, бывало, проводил в лазарете в дымчатых очках и с надвинутым до самой переносицы зеленым зонтиком, защищавшим его воспаленные глаза от слишком яркого дневного света.

— Что ж, я с удовольствием сделаю все, что могу, для больного товарища, — отозвался Высоцкий.

— Ну, вот. Впрочем, никаких экстренных мер, надеюсь, более не потребуется, потому что после пароксизма наступила уже реакция.

Спустя полчаса, фельдшер с дымящейся чашкой потогонного в руках стоял над изголовьем пациента.

— Ваше благородие! а, ваше благородие! не откушаете ли чашечку нашей лучшей лазаретной романеи?

Дешевое острословие лазаретного юмориста, переименовавшего *ромашку*в *романею*, ради ласкавшего его слух созвучия названий, не тронуло школьного остряка. Лежа с полуприщуренными глазами, он и ухом не повел.

— Вот не было печали, да черти накачали! — проворчал Евлампий и наклонился над неподвижным, чтобы убедиться, точно ли он спит, или только притворяется.

В тот же миг одна из рук пациента ухватила фельдшера за лиловую сливу, заменявшую ему орган обоняния. Держа в руках полную до краев чашку, Евлампий не имел возможности защититься и заголосил благим матом:

— Ой-ой! оторвет! ей-богу, оторвет с корнем!

— Корень я тебе, так и быть, на развод оставлю. Только, чур, брат, не урони чашки! Боже тебя упаси! Эконом на счет поставит, — говорил наставительно Гоголь, продолжая теребить несчастного Гуся за клюв.

Чашку тот не уронил, но добрую половину содержимого волей-неволей вылил на грудь пациента.

— Ах, черт! — буркнул Гоголь, выпуская фельдшерский нос, и, отряхнувшись, присел на кровати.

Евлампий вытаращил на него глаза.

— Да вы, ваше благородие, никак все только шутки шутили?

— Какие шутки! Я просто расквитался с тобой твоей же монетой.

— Но вы и начальство ведь за нос поводили? А я, право же, так и чаял, что быть мне без носа, как без шпаги.

— То же думала немочка, которую Суворов в пражском театре взял за нос, когда она вошла к нему в ложу с букетом цветов от имени всей Праги.

— Да зачем же он взял ее за нос?

— За тем, чтобы поцеловать за всю Прагу.

— Ишь ты! — ухмыльнулся Евлампий. — А меня-то ваше благородие не поцеловали?

— Такого красавчика — только и недоставало! Подай-ка сюда мой кошелек.

Достав из своего тощего кошелька мелкую серебряную монету, Гоголь вручил ее фельдшеру с наказом сбегать в лавочку за банкой варенья, а что выторгует — распить за его, Гоголя, здоровье.

— Дай бог вам сугубо! Не успеет стриженая девка косы заплести... А сами вы, ваше благородие, теперича ложитесь-ка опять в растяжку: неравно кто из начальства заглянет.

— Обо мне, братику, не хлопочи. Сам-то, смотри, держи язык за зубами.

— Нешто я о двух головах, али совсем безголовый? Гомо сум, хоть и гусем именуюсь.

Глава шестая

Новый друг, но лучше ли старых двух?

Второй пациент Евлампия, семиклассник Высоцкий, во время всей описанной выше сцены держал себя совершенно безучастно. Давеча, при входе директора, он, разумеется, встал, поспешно спрятав какую-то книгу. Но едва только Иван Семенович скрылся за дверью, как книга опять появилась на подоконнике и поглотила все внимание молодого студента. Даже тогда, когда нос фельдшера подвергся опасности быть оторванным «с корнем», Высоцкий из-под зеленого зонтика, поверх темных очков, окинул Гуся и его мучителя только коротким взглядом. Глаза его встретились с глазами Гоголя, который словно искал у него одобрения и поощрения. Но пристало ли студенту относиться сочувственно хотя бы к смешным, но мальчишеским выходкам

гимназиста? И Высоцкий плотно сжал губы, чтобы они не разъехались в улыбку, и уткнулся снова в свою книгу.

Тут вернулся из лавочки Евлампий с заказанной банкой варенья. Поступь его была не совсем уже тверда, а взор подернулся маслянистой влагой.

— Пожалуйте, ваше благородие! Осушил наперсточек во здравье ваше и родителей ваших.

— Вижу, и наперсток-таки изрядный, судя по благоуханиям уст твоих, — отозвался, морщась, Гоголь.

— Без поливки, ваше благородие, и капуста сохнет. Кушайте на здоровье! Вот вам и ложечка.

— Подай-ка еще одну. Герасим Иванович, не отведаешь ли тоже для компании?

Никто из других воспитанников до сих пор не величал Высоцкого но имени и отчеству. Что Яновский назвал его теперь так, — показывало, конечно, что мальчик питает к нему, студенту, особенное почтение.

— Спасибо, — со снисходительной небрежностью отвечал Высоцкий и, пододвинув свой стул к изголовью гимназиста, вооружился поданной ему чайной ложкой, — хотя, признаться, я не большой охотник до этих лакомств. Мое первое лакомство — хорошие книги.

— Кто же ими не лакомится? — сказал Гоголь. — А ты что теперь читаешь?

— Да вот контрабандой добыл себе целый год «Московского Телеграфа».

— Почему же контрабандой? Ведь журналы из нашей библиотеки выдаются, кажется, всем беспрепятственно?

— Всем, да не мне: Иван Семенович строго-настрого запретил мне читать в лазарете. Но охота пуще неволи, глад духовный пуще глада телесного. В «Телеграфе» здесь не одни только конфетки да варенье — стишки да повестушки, но и блюда солидные, сытные — критика, ученые статьи. Досадно только вот, что зрение у меня, в самом деле, подгуляло: чуть немного больше почитаешь — в зрачках так вот и заколет, круги пойдут...

— Так ты, Герасим Иванович, взял бы себе лектора.

Высоцкий насупился.

— Что ты, смеешься надо мной? Над природными недостатками смеяться, брат, глупо!

— И не думаю смеяться. Я сам вот, например, охотно тебе почитал бы.

На этот раз Гоголь говорил так прямодушно и серьезно, что в искренности его нельзя было сомневаться.

— А прочитывать ты умеешь? — спросил Высоцкий. — Впрочем, испытать не долго. А теперь первым делом расскажи-ка мне, с чего ты помешался или, лучше сказать, для чего?

— А вот слушай.

И Гоголь стал рассказывать. Хотя слушатель-студент относился к нему все еще несколько свысока, но гимназист наш передавал историю своего мнимого помешательства с таким юмором, иллюстрировал ее такими ужимками и мимикой, что заставил студента усмехнуться.

— Ты, однако, Яновский, как погляжу, заправский актер, — сказал он.

— Да, это у меня в крови.

— Как так? Разве ты из актерской семьи? Ведь отец твой, слышал я, помнится, полтавский помещик.

— По званию своему — помещик, по призванию же — актер и драматург.

— Скажи, пожалуйста! Что же он сочинил такое?

— Две комедии.

— Ого! Целые две штуки?

— Да у Котляревского их тоже всего две.

— То Котляревский!

— А то Гоголь-Яновский! — с легким уже задором подхватил Гоголь, задетый за живое пренебреженьем, которое выказывал Высоцкий к его отцу.

— Будь так, — милостиво согласился Высоцкий. — Что же, комедии те, верно, из помещичьего быта?

— Нет, из простонародного.

— Хохлацкого?

— Да, малороссийского.

— И называются как?

— Одна — « *Собака-вивця*».

— То есть, « *Собака-овца*»? Что за дикое название!

— А совершенно отвечает содержанию пьесы.

— В чем же ее содержание?

— А вот в чем. Простофиля-мужик ведет на ярмарку овцу продавать. Навстречу два солдата.

«— Откуда у тебя, друже, эта собака?»

«— Какая собака?»

«— Да вот эта».

«— Эта? Да это же, братове, овца».

«— Хе-хе-хе! Что ты, братику, морочить нас хочешь, али слеп, что собаки от овцы распознать не можешь? А собака-то нам даже знакомая — нашего полкового майора».

Слово за слово, уверили простофилю, что и вправду не овца, а собака, и отдал он им не только «собаку», но и «копу грошей», чтобы «одкараскались» (отвязались).

— Столь же остроумно, сколь и назидательно, — промолвил Высоцкий таким тоном, что для сына драматурга оставалось под сомнением: хвалит он или трунит. — Ну-с, а вторая пьеса?

— Вторая — « *Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом*».

— Если пьеса столь же содержательна, сколь название ее долгопротяженно, то штука должна быть бесподобная, из ряда вон!

Явная уже ирония студента вогнала в бледные щеки гимназиста легкую краску, и ему стоило некоторого усилия, чтобы отвечать с прежней сдержанностью:

— Не из ряда вон, а все же может вполне стать на ряду с « *Москалем Чаривником*» Котляревского, тем более, что и по содержанию с ним очень схожа.

— Так что иной зритель, чего доброго, заподозрит, что Гоголь-Яновский просто позаимствовал всю пьесу у Котляревского и только имена действующих лиц переставил?

Щеки Гоголя еще более зарумянились.

— У тебя, Высоцкий, жив тоже отец? — спросил он.

— Жив и здрав. А что?

— И ты его любишь?

— Странный вопрос! Понятно, люблю.

— А что бы сказал ты, если бы другой кто таким же манером стал выражаться на его счет?

— М-да, правда твоя: чти отца и матерь свою, — проговорил Высоцкий более серьезным тоном. — Кто из них двоих у кого позаимствовал — в сущности ведь и неважно: лишь бы сама пьеса смотрелась без скуки.

— Ну, а пьеса моего папеньки давалась с блестящим успехом!

— Где? В городе или только в деревне?

— В деревне, но у самого Трощинского.

— Это, кажется, бывший министр юстиции?

— Да, а теперь первый вельможа на всей Украйне; имеет свой домашний театр...

— Он сосед ваш по имениям?

— Не то что сосед: до него от нас верст тридцать; но родственник моей маменьки.

— Та-а-ак, — протянул Высоцкий. — Вот где собака-то зарыта, как говорят немцы.

— Родство тут вовсе не причем! Нарочно вот, как съезжу домой на вакации, выпрошу у папеньки его пьесу, чтобы поставить ее и здесь, в гимназии... Ах, черт возьми! — вырвалось вдруг у Гоголя, и лицо его омрачилось.

— Что с тобой? — удивился Высоцкий.

— Ведь если меня продержат здесь в лазарете до конца масленой, так мне и в спектакле участвовать не придется!

— Да, брат, на этот счет отложи попечение: хоть бы тебя и выпустили отсюда, на сцену тебя во всяком случае не пустят: как раз выкинешь опять сумасшедшее коленце. Ну, полно, брат, чего нос-то повесил? Играют у нас тут не в первый и не в последний раз. А чтобы тебе попусту не думать об этом, на вот книгу: почитай мне, покажи свое искусство.

И началось у них чтение; а так как Гоголь, в самом деле, читал хорошо, а теперь для нового своего приятеля еще более постарался, то Высоцкий остался вполне доволен и заставлял его затем читать уже изо дня в день. Нередко чтение прерывалось более или менее остроумной вставкой чтеца или слушателя, имевшей обыкновенно какое-нибудь касательство к товарищам или к гимназическому начальству, и вставка эта вызывала тотчас соответственную реплику второго собеседника. Высоцкий был

несомненно более начитан и умственно более зрел, а отчужденность от товарищеского круга вследствие частого пребывания в лазарете сделала из него если не светоненавистника, то довольно желчного нелюдима. Во всем и во всех он прежде всего подмечал оборотную сторону, отрицательные качества, и с особенным удовольствием изощрял свой природный юмор насчет слабостей своих ближних. А так как ехидствовать вдвоем куда занятнее, чем в одиночку, то он с каждым днем стал относиться все более дружелюбно к посланному ему судьбой лазаретному товарищу, который с такой верой принимал его решительные приговоры о людях и, благодаря бившей в нем также живым ключом сатирической жилке, подбавлял еще к каждому такому приговору своих красок, своего «соусу». Самолюбию же Гоголя не могло не льстить, что «студент» водится с ним, как равный с равным, и так одобрительно усмехается над всякой его, даже грошевой остротой. Одноклассники навещали, разумеется, двух узников в их лазаретном заточении, но те и без них не скучали. Едкий цемент сатиры в несколько дней скрепил две родственные натуры в такую дружбу, для которой при иных условиях потребовались бы годы. Когда перед самой масленицей Высоцкому наконец удалось вырваться из лазарета, он на прощанье не только тепло пожал руку Гоголю, но даже облобызал его.

— Ну, дружище, не скучай без меня, — сказал он. — Я приложу все старания, чтобы вытащить тебя из этой ямы хотя бы ко дню спектакля.

Гоголь глубоко вздохнул:

— Что пользы, ежели я сам не могу играть? Мою роль жреца ведь передали уже другому!

— А что, если я выторгую для тебя какую-нибудь пустую рольку хотя бы во французской или немецкой пьесе, — возьмешься ты играть ее?

— Возьмусь. Только тогда уже, Герасим Иванович, пожалуйста, роль покороче: у меня решительно нет памяти для этой тарабарщины.

— Добре. Главное — не унывай.

И он добился своего: Орлай, убедившись, что у его сумасшедшего пациента умственные способности окончательно возвратились, не только выпустил его на волю, но разрешил ему даже выступить на товарищеской сцене в коротенькой роли доброго сына, которую выхлопотал ему его новый друг у режиссера — Кукольника — в немецком стихотворном «одноактнике». Но чего стоило Гоголю вызубрить свои двадцать стихов на «тарабарщине»!

Накануне спектакля были две репетиции, в самый день спектакля поутру еще одна. И Гоголь оказался «на высоте своей задачи»: с большой развязностью начинал он трогательным восклицанием: «Oh,

mein Vater»! — и, без запинки отбарабанив свои двадцать стихов, не менее патетически заканчивал: «Nach Prag!» [20]

Но вот наступил и вечер. Зрительная зала, то есть та часть торжественного зала, преобразованного в театр, которая была отведена для публики, стала быстро наполняться. Первые ряды стульев были предоставлены почетным гостям: городским родственникам молодых актеров и гимназическому начальству. В задних рядах теснились те из товарищей актеров, которые были осчастливлены входными билетами. Началось представление с «коронной» пьесы — озеровского «Эдипа». Гоголю видеть ее не довелось: как опытный живописец, он должен был в соседней классной комнате гримировать поочередно всех актеров — сперва для «Эдипа», а затем и для двух иностранных пьес. Сбросив сюртук и засучив рукава, он артистически расписывал то одну «физию», то другую. Судя по долетавшим к нему через коридор из зрительной залы громким аплодисментам, представление шло гладко; а возвращавшиеся со сцены актеры так и пылали радостным волнением.

— Ну что, Саша, как твои дела? — обернулся Гоголь в одном из антрактов к Антигоне-Данилевскому и загляделся на него. — Эге! да как ты авантажен: во лбу светел месяц, в затылке звезды частые! Ей-богу, хоть сейчас под венец!

Древнегреческий женский костюм, действительно, чрезвычайно шел к стройному и хорошенькому отроку, щеки которого притом же горели, а глаза сверкали.

— Ну, да... — смущенно усмехнулся Данилевский. — Кто из нас бесспорно эффектен, так это Базили: вылитый Эдип!

— Все оттого, что дочка такая славная: глядя, вдохновляешься! — весело отозвался слышавший их Эдип-Базили и дружески похлопал «дочку» по спине. — Однако, Антигонушка, идем: пора.

Оба могли быть довольны своим успехом: когда занавес опустился в пятый раз, вызовам обоих не было конца.

Тут и Гоголю надо было подумать о своей немецкой роли. Лицо он себе заблаговременно размалевал; наряд его требовал уже немногого: спустить рукава рубашки да натянуть на плечи сюртук. «Эх! да ведь руки-то совсем еще в красках.»

— Семене! подай-ка воды. Так ведь и есть! В кувшине ни капли, и ни одного мало-мальски чистого полотенца. Чего ты смотришь, старче?

Старик-дядька, ворча на панычей, которые уже четыре кувшина и шесть полотенец израсходовали, заковылял за водой и полотенцем.

— А мыло где, господа?

Мыло оказалось на полу под табуретом: у мывшегося последним оно выскользнуло из рук, и он не дал себе труда поднять его с пола. Гоголь наклонился за мылом; но оно завалилось так неудобно между ножками табурета, что пришлось изогнуться в три погибели.

Трах! — назади пуговица отскочила. Этого еще недоставало! Только что возвратившийся с полным кувшином и чистым полотенцем Симон должен был снова бежать за иголкой да ниткой.

А тут в «актерскую» влетел сам режиссер Кукольник.

— Яновский! Где ты застрял? Да ты еще не совсем одет! Господи! О чем ты до сих пор думал?

Гоголь не стал даже оправдываться; у него самого дух захватывало — не то от досадливого нетерпенья, что вот из-за него задерживается представление, не то от неизбежной «театральной лихорадки».

Наконец-то руки у него умыты, пуговица пришита, сюртук на плечах. Старик-дядька перекрестил его:

— С богом!

В ожидании своего выхода, Гоголь стоит за полутемной кулисой. Со сцены доносится «тарабарщина» действующих уже актеров. А у самого сердце в груди так и екает.

«А ну, как на сцене забудешь какой-нибудь стих? Суфлер-то, пожалуй, подскажет, да разберешь ли его? И нужно было этому дурню-немцу сочинить свою пьесу стихами! Даже переврать нельзя. В самом деле, помню ли еще все подряд? «Oh, mein Vater!..» А дальше-то как? Ах, черт! Как это там? Все лучше еще раз перечесть».

Он бросился из-за кулисы в коридор, но тут же столкнулся носом к носу с Кукольником.

— Куда, куда? Назад! Тебе же сейчас выходить.

И не успел Гоголь собрать своих пяти чувств, как энергичный режиссер круто повернул его за плечи и, раскрыв двери в кулисе, буквально втолкнул его на сцену. Как в тумане, по ту сторону рампы виднеется многоголовое чудовище — публика, уставившаяся на нового актера сотней жадных глаз. А стоящий тут же, на сцене, «Vater» встречает сына той самой заключительной фразой, в ответ на которую Гоголь должен протрезвонить весь свой стихотворный столбец. Господи, благослови!

— «Oh, mein Vater!..»

Вырвалось у него это воззвание с большим чувством, обрывающимся от непритворного волнения голосом, и протянутые к родителю руки как

нельзя лучше иллюстрировали эту трогательную мольбу. Но дальше-то что? Как утопающему соломинка, так ему было бы дорого одно единственное даже слово. Но тщетно напрягал он слух, чтобы уловить это слово: на беду его, суфлер прикорнул за кулисой на противоположном конце сцены, и, вместо членораздельных звуков, до нашего утопленника доносится только какой-то смутный шепот. Гоголь чувствовал: кровь хлынула ему в голову. Не стоять же этак без конца истуканом на посмешище зрителям!

Глубоко переведя дух, он крикнул с возможным одушевлением: «Nach Prag!» — махнул родителю рукой: «Adieu», мол, «lieber Vater» [21], и давай бог ноги. «Уф»!

— Что, брат, так скоро? — удивился Кукольник при виде входящего в «актерскую» Гоголя.

— Отзвонил как по нотам, — был ответ. — Семене! умываться!

Когда, полчаса спустя, занавес взвился в последний раз и на любительских подмостках шипящая немецкая речь сменилась благозвучной французской с веселыми куплетами, Гоголь, прежний гимназистик в форменном платье, вошел также в зрительный зал. Зал был битком полон.

— Сюда, Яновский! — позвал его кто-то из задних рядов.

Около самой стены он увидел Высоцкого, настоятельно кивавшего ему издали. Не без труда пробрался он к нему между тесно уставленными стульями.

— Ты, верно, много выпустил из своей роли? — тихонько спросил Высоцкий, отодвигаясь на своем стуле, чтобы дать своему новому другу место около себя.

— Все выпустил, кроме интродукции и финала! А другие разве тоже заметили?

— Кажись, что нет. Только Билевич что-то шепнул Орлаю, и тот плечами пожал. Многие ли тут смыслят по-немецки? Большинство, конечно, думало, что так и нужно. Что такое, скажи, это большинство? Что весь наш милый Нежин? — стадо баранов, которые сдуру блеют, что заблеет первый из них.

— Ну, извини, Герасим Иванович, в этом я с тобой не согласен!

— В чем?

— В том, что у нас здесь одни бараны: по-моему, Нежин — целый Ноев ковчег. Особливо хороши наши греки — так их и расписал бы!

— Difficile est satiram non scribere [22], — как говорит Ювенал. А что, Яновский, и то ведь, ты у нас писака; попытаться бы тебе пустить им в нос этакого письменного «гусара»? Разумеется, тихомолком, чтобы не выдать себя, и потом из-за угла наблюдать, как они в просонках расчихаются.

— Можно, — с задумчиво-лукавой усмешкой согласился Гоголь. — Только, чур, Герасим Иванович, другим об этом пока ни полслова!

— Ни-ни, само собой. А добрую щепотку бакуна с кануфером и я тебе, пожалуй, тоже на сей конец предоставлю.

Глава седьмая

Как был пущен «гусар»

И точно, едва лишь пахнуло весной и река Остер сбросила с себя оковавшую ее за зиму ледяную кору, а оголенные клены, вязы и липы гимназического сада оделись первым зеленым пухом, как богоспасаемый город Нежин также пробудился от своей зимней спячки расчихался, — расчихался от пущенного ему в нос «гусара» [23]. На всякое чиханье не наздравствуешься, и ни в чем неповинному Ивану Семеновичу Орлаю пришлось отбояриваться за своего питомца-школяра, когда перед ним, Орлаем, предстала вдруг депутация от наиболее расчихавшихся горожан-греков.

Когда в пятнадцатом веке турки окончательно завладели Балканским полуостровом и стали жестоко угнетать христиан-греков, последние целыми семьями эмигрировали в Малороссию. В числе городов, избранных эмигрантами для своей оседлости, был и Нежин. Благодаря предприимчивому, коммерческому духу греков и данной им Богданом Хмельницким привилегии — беспошлинного торга по всей Малороссии, торговля Нежина стала быстро развиваться. Греческая колония в Нежине сделалась силой, с которой тяжелым на подъем, ленивым хохлам не легко было считаться. Греки имели в городе не только свою собственную церковь, но и свой особый магистрат, который упразднен был только в 1870 году, с введением на всем юге общего городового положения. Впрочем, и в 20-х годах настоящего столетия нежинские греки во всем быте своем значительно уже поддались влиянию коренного населения и даже меж собой говорили по-малороссийски; только старики еще с грехом пополам знали язык своих предков; само богослужение в греческой церкви производилось уже на славянском языке. Вместе с тем, имея свое отдельное самоуправление и пользуясь по-прежнему торговыми привилегиями, местные греки крепко держались еще друг друга, хотя из всех характерных особенностей их старинного быта сохранилась в полной неприкосновенности едва ли не одна единственная — греческие колбасы, очень твердые и очень пряные.

Целым пудом этих самых колбас била челом Ивану Семеновичу и явившаяся к нему депутация:

— Прими, батечку пане директор, доброхотное приношение и защити!

Благородные черты Орлая вспыхнули огнем; он отступил на шаг назад от сложенного к ногам его «доброхотного приношения» и, с трудом поборов прилив гнева, сухо заметил:

— Вы, верно, ошиблись в адресе, господа. Никаких приношений я никогда ни от кого не принимаю.

Непритворное негодование «пана директора» было слишком явно, чтобы оставлять еще сомнение. Депутаты меж собой немного пошептались, затем главарь их, пузатый и смуглый, как навозный жук, выступил вперед.

— Ну, вже так! не обессудь, — сказал он и, с низким поклоном, сунул Ивану Семеновичу какую-то обтрепанную, засаленную тетрадку. — Почитай-ка.

— Да что это такое? — спросил тот.

— Возьми в ручки и прочитай: сам увидишь.

— Сам увидишь! — в один голос, как хор древних греческих трагедий, повторила за своим вожаком вся черномазая команда.

Не без опаски приняв тетрадь, побывавшую, судя по ее отталкивающему виду, уже в сотне неопрятных рук, Орлай взглянул на заглавную страницу. Там стояло:

Нечто о Нежине,
или
Дуракам закон не писан

Он раскрыл тетрадь.

— Да ведь это целый трактат...

— А уж тебе, батечку, ученому человеку, лучше нашего знать, как назвать такую непристойность. Читай.

— Но зачем мне читать «непристойность»?

— Сделай милость, читай!

Вся депутация разом отвесила опять поклон в пояс и повторила:

— Сделай милость, читай!

Иван Семенович покачал головой и приступил к чтению «трактата». Он был разделен на «отделы». Первый отдел носил название: «Освящение церкви на греческом кладбище».

Насупив брови, Орлай быстро пробегал глазами строку за строкой, страницу за страницей. Раза два сжатые губы его раздвинулись презрительной улыбкой. Так добрался он до второго отдела, озаглавленного: «Выбор в греческий магистрат».

— Все-таки, господа, я в толк не возьму, — сказал он, для чего вы заставляете меня читать этот вздор? Ибо сочинение это крайне слабо...

— Слабо?! — вскинулся толстопуз-главарь, сверкая своими черными, как коринки, глазами. — Так ты, батечку, хочешь, чтоб нас, греков, еще пуще отделали, совсем с грязью смешали?

— Вы меня не так поняли, — успокоил его Иван Семенович. — Сочинение слабо как литературная вещь; сути его я не касаюсь...

— Да нас-то эта суть, пане директор, очень даже касается! Мы все обижены, так уж обижены...

— Но из вас тут прямо никто ведь не назван?

— А вот Болванаки, Собаконаки, Воропуло, Оплетуло — это мы самые, значит, и есть.

— Так это ваши подлинные имена?

— Гай, гай! як же се можно? Но портреты-то наши, все дурное, что здесь прописано...

— Тоже ваше? — коротко прервал Орлай. — Позвольте мне не верить. Среди здешней греческой колонии, как я слышал, много весьма почтенных людей; а вы, господа, как избранные всей колонией, несомненно самые почтенные. Поэтому вас не должно трогать, что приписывается бездарным писакой каким-то небывалым Собаконаки и Воропуло.

— Очень даже трогает, потому он ругает всех нас, нежинских греков, собаками и ворами, а мы в нашем деле как одна шайка...

— Как одна шайка! — с воодушевлением подхватил хор.

— Извините, господа, — решительно заявил тут Иван Семенович, — я — человек занятой, время у меня дорого, и в делах вашей «шайки» я всячески не судья.

— Как не судья! Как не судья! — завопил запевала, весь побагровев от задора. — Коли профессоры твои со школярами ругательно на нас пишут...

— Что? Что такое? — приосанясь, спросил Орлай. — Вы забываете, господа, что обвинение ваше, крайне оскорбительное для всего вверенного мне заведения, должно быть доказано.

— И будет доказано! Читай только дальше. Иван Семенович снова взялся за тетрадь.

— «Отдел третий, — прочел он вслух: — Всеядная ярмарка». Это, что ли?

— Нет, дальше.

— «Отдел четвертый: Обед у предводителя»...

— Еще дальше.

— «Отдел пятый: Роспуск и съезд студентов».

— Вот-вот, оно самое и будет. Студенты — это, знамое дело, не кто, как школяры твои, пане директор.

— Допустим, что так. Но с чего вы взяли, что написано это не каким-нибудь посторонним бездельником, которому вздумалось осмеять и ваши сословные и наши школьные порядки?

— А потому, что мы тех двух бездельников по имени назвать даже можем.

— А их двое? Назовите же.

— Один — школяр Гоголяновский.

— Гоголь-Яновский? — переспросил Орлай. — Так, в самом деле зовут одного из наших пансионеров. А другой?

— Другой — профессор Иеропес.

— Ну, уж этого-то вы подозреваете совершенно напрасно!

— Напрасно? Кому же лучше него знать все порядки в нашем магистрате?

— Вы, господа, в настоящем случае просто ослеплены вашей личной враждой к этому вполне достойному человеку. С самого прибытия его сюда из Смирны колония ваша не могла, я знаю, простить ему, что он принял должность профессора в русском заведении, не испросив предварительно вашего согласия.

— И не смел принять! Да женился потом еще на русской...

— То-то вот. Но могу вас заверить, что господин Иеропес — человек самый безобидный и нарочно вредить никому не станет. Кроме того, должен прибавить, что он едва ли не менее всех остальных профессоров имеет влияние на воспитанников, потому что учение греческому языку у нас не обязательно. Так и Гоголь-Яновский, которого вы считаете автором этого пасквиля, не учится вовсе греческому языку и потому не имеет даже случая говорить с господином Иеропесом. Да кто из нежинцев и без того не знает, что делается в вашем греческом магистрате?

— Ну, так подай нам хоть Гоголяновского!

— Подай нам хоть Гоголяновского! — повторило эхо депутатов.

Иван Семенович позвонил в колокольчик и вошедшему сторожу отдал приказание позвать пансионера пятого класса Яновского; в ожидании же, стал читать про себя главу «о студентах». Морщины на лбу его снова углубились, и, не дочитав, он с досадой закрыл тетрадь.

— Ну, что? — обернулся он к возвратившемуся сторожу, — а Яновский где же?

— Сейчас отлучились в город, — отрапортовал сторож.

— Сейчас? При тебе?

— Точно так. Отпросились у господина надзирателя.

— Когда возвратится, тотчас же, слышишь, прислать его ко мне!

— Слушаю-с.

— Можешь идти. А вам, господа, нечего более беспокоиться, — с сухой вежливостью обратился он к депутатам: — буде пансионер Гоголь-Яновский, точно, оказался бы так или иначе причастен к этому вздорному писанию, с него будет взыскано домашним порядком. Что же касается небылиц на вымышленных горожан, то таковые ни вас, ни одного другого порядочного человека не должны трогать. Получите обратно вашу тетрадь и будьте здоровы!

Иван Семенович собственноручно растворил господам депутатам дверь. Те, видимо, были озадачены таким оборотом своего иска и начали было опять шептаться.

— Не угодно ли? — предложил «пан директор», решительным жестом указывая на выход.

От всего существа его веяло такой начальнической важностью, что чумазые гости поспешили извиниться и откланяться.

Своей отлучкой в город Гоголь хотя только на короткое время отсрочил свое объяснение с директором, но расчет его оказался верен: гнев вспыльчивого Юпитера-Громовержца успел уже значительно остыть.

— Почему вы, Яновский, тогда же не явились ко мне, когда я посылал за вами? — спросил Орлай, выказывая свое неудовольствие к ослушнику не столько тоном голоса, сколько тем, что называл его не по имени и отчеству, а по фамилии.

— Виноват, ваше превосходительство, — довольно развязно отвечал Гоголь, приготовившийся уже к такому вопросу: — но мне необходимо было в город по поручению маменьки... Я получил от нее письмо... Она велела также передать нижайший поклон вашему превосходительству...

Говорилось все это скороговоркой, как заученный урок, так что и доверчивый Иван Семенович немножко усомнился.

— А когда пришло письмо?

— Когда-с?.. Да не так давно...

— То есть несколько уже дней назад, а теперь вдруг загорелось исполнять поручение? Что же вам было поручено?

— Закупить кое-что для девичьей: иголок, шелку, ниток...

— А вы такой знаток по швейной части? Где же ваши покупки? Снесли наверх?

— Н-нет-с, я не нашел того, что нужно...

— Или, лучше сказать, ничего и не было нужно, потому что и поручения-то никакого не было?

— Изволите видеть: маменька всегда жалуется, что у этих офеней, что продают у нас в разнос, иголки ужасно хрупки...

— Не виляйте, сделайте милость! Определенного поручения вам никакого не было, да и поклон вы мне передали только так, к слову.

— Нет, право же, ваше превосходительство, ей-богу! Маменька во всяком письме велит вам нарочно кланяться: она так вас почитает...

— И я ее очень почитаю; уважение у нас взаимное. Но я должен заметить вам, любезнейший, что у вас одна нехорошая черта — лукавить, — черта, присущая хотя и всем малороссам...

— Так как же мне не поддержать, ваше превосходительство, своей национальной черты? — с легонькой уже улыбкой подхватил Гоголь.

— Ну, вот, вот! И зачем это вы постоянно величаете меня моим казенным титулом? Для вас я, как и для других, просто Иван Семенович. Никакой экстренности вам в город, очевидно, не было. Вы просто труса спраздновали, что вас вот притянут к ответу за вашу глупую сатиру на здешних греков. Ну, и повинились бы благородным манером: «Mea culpa!» [24]

Против правдолюбия и добродушия Ивана Семеновича нельзя было устоять, и Гоголь чистосердечно повинился:

— Mea culpa! Но ваше превосх… вы, Иван Семенович, не поверите, как трудно выговорить эти два коротеньких словечка!

Произнес это Гоголь с такой наивно-виноватой миной, что и Орлай не устоял — улыбнулся.

— Охотно верю вам, — сказал он, — маленького ребенка хоть убей, а не заставишь извиниться. Но вам-то все-таки уже пятнадцать лет…

— С хвостиком-с. Но согласитесь, Иван Семенович, что наши нежинские греки — такой народец, что на них, как говорится, «difficile est satiram non scribere».

Плохой латинист думал щегольнуть перед директором-классиком позаимствованной у старшего друга ученостью, но не совсем удачно.

— Scribere, scribere! — поправил его Орлай и даже ногой притопнул. — И как это вы, грамматист, до сих пор не знаете, что глагол этот — третьего спряжения? А что до вашей якобы сатиры, то она, поверьте моему слову, ни по своему содержанию, ни по исполнению никуда-таки не годится.

— Но что же делать, коли руки так и чешутся писать?

— Пишите, пожалуй, для практики в языке, но отнюдь не пасквили. «De mortuis — гласит пословица — aut bene, aut nihil», а по-моему, и «de vivendis» [25]. Мало ли тем высоких, достойных? Но лучше всего до поры до времени вам ничего не писать, а заниматься делом, ибо в ваши годы этакое писание пустяков отбивает только от науки, приучает не дорожить каждой минутой нашей короткой человеческой жизни. Прилежание — шаг к гению, а леность — сто шагов к глупости.

— Ах, нет, Иван Семенович! Вы только что разрешили мне писать, а теперь берете уже назад свое разрешение.

— Бог с вами, пишите! Но сами вы, Николай Васильевич, обещайтесь мне зато — пока вы будете здесь, в гимназии, не писать уже подобных недостойных вещей. Обещаетесь?

— Обещаюсь, — отвечал с глубоким вздохом молодой сатирик, и обещание свое, действительно, сдержал: за крупные вещи сатирического содержания в Нежине уже не принимался.

Глава восьмая

На вакации!

Хорошо гулялось и дышалось весной под раскидистыми деревьями гимназического сада; но прогулки эти, как временный суррогат, только распаляли жажду к настоящему деревенскому приволью. Гоголь просто не мог дождаться, когда вышлют за ним лошадей из Васильевки, и, как мальчик обстоятельный, предусмотрел все, что нужно было, для скорейшего и удобнейшего переезда в родные Палестины.

«Если вы будете присылать за нами, — писал он из Нежина родителям 13 июня 1824 года, — то, пожалуйста, пришлите нашу желтую коляску с решетками и шестеркой лошадей. Не забудьте — коляску с зонтиком: в случае дождя, чтоб нам спокойно было ехать, не боясь быть промоченными. Еще сделайте милость, пришлите нам на дорогу для разогнания (долго оставаться на постоялых дворах) несколько книг из Кибинец. Но вместо повестей пришлите вы нам книгу под заглавием: «Собрание образцовых сочинений», в стихах, с портретами авторов, в шести томах, за что мы будем очень благодарны…»

И 18 июня за ним и его двумя спутниками — Данилевским и сводным братом последнего, семиклассником Барановым — действительно, прибыла с надежным дворовым человеком Федором, или попросту Федькой, «желтая коляска», запряженная шестеркой; не были забыты и шесть томов «Собрания образцовых сочинений».

Все, кажется, было предусмотрено, но на напасть не напрясть: надзиратель Зельднер, узнав, что четвертое место в коляске свободно, объявил вдруг, что, посоветовавшись с супругой своей Марьей Николаевной, он решил сопровождать трех путников, дабы погостить в деревне сперва у отчима Данилевского и Баранова, а затем у Гоголей, за что даст им возможность пользоваться от него в течение всего лета даровой практикой в немецком языке. Те, вздыхая, покорились неизбежному.

Тут совершенно неожиданно судьба послала им избавителя. Под вечер, накануне отъезда, Гоголь был вызван в приемную, где застал тучного господина с двойным подбородком и открытым бронзово-красным лицом. Тяжело отдуваясь и не вставая со стула, тот протянул входящему мясистую, потную руку.

— Что, не узнаете разве? Щербак, старый знакомый вашего папеньки.

— Простите: право же, не сейчас узнал. Вы так… не знаю, как сказать…

— Отощал? Ха-ха-ха! Да, живем мы, пирятинские помещики, тоже не на чужих хлебах. Рот болит, а брюхо есть велит. И бричка, поди, не оттого ли развалилась? Я ведь к вам с просьбицей.

— По поводу брички?

— Да. Кузнец, изволите видеть, берется справить ее только к той неделе. Ну, а пора страдная: домой мне до зарезу. Так вот, душенька, не найдется ли у вас для меня местечко хоть до Пирятина? Много ли мне, грешному, нужно при моей стройной комплекции! Да что вы руками-то разводите?

— Тут не руками только — и ногами разведешь, — отвечал Гоголь и поведал о том, как им подвернулся четвертый спутник, надзиратель Зельднер.

— Зельднер? — переспросил Щербак. — Это ведь тот, у которого ноги колесом рококо? Я большой любитель рококо.

— И я тоже. Но у Егора Ивановича, к несчастью, и натура рококо: по суху, как по морю, в пути с ним аккуратно всякий раз морская болезнь.

— Это уже ренесанс. Ха-ха-ха! Ну, я-то на этот счет хоть для вас безопасен. Так доложите-ка ему, милочка, что так, мол, и так: мне, близкому другу дома, вы, к великому вашему прискорбию, никоим образом не можете отказать; а пятерым в коляске никак не уместиться.

Обрадованный Гоголь побежал тотчас предупредить надзирателя. Но тот и слышать не хотел: Марья Николаевна-де и пирожки на дорогу напекла...

— Мы примем их с признательностью, — сказал Гоголь и шаркнул ножкой. — Но нельзя же нам, помилосердствуйте, сидеть двое суток с лишком, как сельди в бочонке. А господин Щербак — наш старый знакомый...

— Что мне ваш господин Щербак! Он — второй кандидат, я — первый...

— Но и в писании, Егор Иванович, сказано: первые да будут последними.

— Без гнилых шуток! Будет! — решительно обрезал дальнейшие препирательства Егор Иванович, и Гоголю для видимости пришлось покориться.

— Пирожки-то хоть не забыть бы? — сказал он. — Не мешало бы, знаете, их теперь же, с вечера, положить в коляску.

— Ja, ja, lieber Freund, das werden wir schon besorgen [26].

— Ну, что, голубушка? — встретил Щербак вопросом Гоголя при возвращении его в приемную.

Тот дословно передал свой разговор с надзирателем, но в тоне его голоса, в выражении его глаз Щербак уловил нечто недосказанное.

— У вас, батенька, верно еще что-то в запасе, — заметил он, лукаво подмигивая. — Сами вы хоть и серьезны, да глаза ваши смеются.

— А это от предвкушения пирожков милейшей Марьи Николаевны. У нее две страсти: пирожки да шарады. Но пирожки ее куда вкуснее ее шарад, которых никто не раскусит.

На другое утро Щербак, привыкший вставать с восходом солнца, едва только протер глаза и поднялся с постели, как под окнами его временной квартиры загромыхали колеса. Он выглянул на улицу: перед крыльцом стояла запряженная шестеркой, некогда ярко-желтого, а теперь грязно-песочного цвета дорожная коляска, из которой ему весело кивали головы трех гимназистов.

— Раненько! — крикнул он им. — А герр Зельднер где же?

— Почивать изволят, — был ответ. — Жаль будить было.

— Нет, без шуток, господа, что с ним?

— Без шуток, еще мирно почивает. Чтобы никого не тревожить, мы с вечера улеглись в музее и велели Федьке поднять нас с петухами.

— Ах, разбойники! А хваленые пирожки мадам Зельднер?

— Пирожки-то здесь.

Из-под сиденья коляски была вытащена и торжественно поднята на воздух объемистая корзина, аккуратно упакованная в толстую синюю бумагу и перевязанная толстой бечевкой.

— Сущие разбойники! — расхохотался Щербак. — Как бы вам только впоследствии горько не поплатиться.

— Осенью-то? О! расплатимся самой сладкой монетой, — отвечал Гоголь: — Марья Николаевна — большая любительница ананасовых дынь; так я привезу ей из Васильевки самую сахарную!

Как узнали они впоследствии, Егор Иванович Зельднер, велевший разбудить себя в пять часов утра, не хотел сперва даже верить, что юные спутники его могли сыграть с ним столь неблаговидную шутку; убедившись же, что их и след простыл, он разразился против главного озорника лаконическим восклицанием:

— А, мерзкая мальчишка!

Тем временем желтая коляска среди облака пыли уносила наших школяров все далее от Нежина. Хотя переезда оттуда до Васильевки было, как сказано, более двух суток, но пора стояла самая благодатная, летняя, на небе ни тучки, да и на душе тоже. А Щербак оказался премилым собеседником: очутившись в компании подростков, он сам словно помолодел на двадцать лет и потешал их вплоть до Пирятина презабавными анекдотами из собственной своей юности. На станциях, пока кормили лошадей, путешественники кормились также досыта: куда что лезло! Но толстяк-помещик уписывал все, что ни попало, за обе щеки так смачно, что примером его нельзя было не заразиться. Первым делом, разумеется, были уничтожены до крошки пирожки мадам Зельднер, которые, в самом деле, оказались преотменными. Щербак съел их ровно дюжину и отер себе уже рот, но тут в корзине оказался еще один последний пирожок, который был разыгран на «узелки» — и достался опять-таки Щербаку. Впрочем, тот насытился не надолго, потому что на следующей же станции потребовал себе поросенка под хреном. Покамест три гимназиста вместе справлялись еще с половиной поросенка, он одолел уже вторую половину, после чего духом влил в себя целый жбан холодного кваса. Правда, что, немного погодя, он тихонько застонал.

— Что с вами? — спросил его Гоголь. — Вам неможется?

— М-да, в утробе что-то неладно: будто поросенок захрюкал.

— Немудрено: ему от пирожков тесно.

— Ну, много ль я их и съел-то? Тринадцать штук. Но чертова дюжина — вот в чем беда-то. Заесть разве халвой? Прошу, панове!

Из дорожного сака появилась десятифунтовая коробка с греческой сластью. С помощью своих молодых спутников он вскоре ее также до половины опорожнил.

— Ну-с, а теперь отдадим долг полковнику Храповицкому. Толстяк растянулся на станционном дырявом, но широчайшем клеенчатом диване. Две минуты спустя комната огласилась таким богатырским храпом, что гулявший под окошком со своим семейством индюк громко разбранился.

Гимназистам было не до сна, и они отправились «открывать Америку»: перелезли через плетень во фруктовый сад, разведенный около домика станционным смотрителем, и оказали честь его черешням. Затем подразнили индюка и подвернувшегося им на заднем дворе бодливого барана. Что бы еще такое предпринять? У Баранова нашлась в кармане головная щеточка с зеркальцем, и он стал наводить «зайчиков» на игравших посреди пыльной дороги маленьких полунагих ребятишек. Но произведенный на них эффект мало удовлетворил наших школьников.

Из открытых окон станции по-прежнему доносилось равномерное и скрипучее, как пила дровосека, храпение Щербака.

— Вот на кого навести бы! Проснется ли?

Все трое вошли к спящему. Тот раскинулся навзничь на диване необычайно живописно: ноги и руки врозь, голова совсем на бок, а по потному красному лицу и выпятившемуся из-под высокого галстука второму подбородку преспокойно разгуливало целое общество мух, норовя залезть в раздувающиеся ноздри и в пыхтящие уста.

— Куда вы, глупые! — заметил Гоголь, — лакомиться-то там, право, нечем. Угостить вас разве халвой?

Коробка с халвой стояла еще на столе. Гоголь пальцем достал оттуда, сколько требовалось, и основательно вымазал жирный кадык помещика. Медовый запах халвы тотчас привлек отлетевших мух к кадыку, который так и почернел от них.

— Тот же рой пчелиный, — сказал Гоголь, — а ему и горя мало. Тут надо порадикальнее средство. Эй, Федька!

Федька, на завалинке у крыльца попыхивавший из своей «люльки», заглянул с улицы в окошко.

— Що треба панычу?

— Одолжи-ка своего тютюна.

Оторвав с пирожной корзины лоскуток синей бумаги, Гоголь свернул его в трубочку, насыпал туда изрядную щепотку табака и приставил трубочку к носу спящего. Средство, действительно, оказалось радикальным. В следующий же миг толстяк, как шальной, сорвался с дивана и с фонтаном брызг расчихался. Минут пять бедняга не мог прийти в себя. Когда же он, наконец, с побагровевшим лицом, с налитыми кровью глазами разглядел стоявших перед ним трех школьников, которые всякий чих его встречали дружным смехом и пожеланием «доброго здоровья», — он неожиданно размахнулся и наградил стоявшего как раз против него и заливавшегося пуще всех Баранова такой здоровой оплеухой, что тот свалился с ног. Смех разом стих.

— Что вы, батенька, не очень ушиблись? — участливо осведомился Щербак, помогая упавшему приподняться.

Одна щека юноши была краснее мака, другая — белее полотна. Глаза его метали искры, губы дрожали.

— У нас с вами, кажется, вышло маленькое недоразумение, — тем же ровным и любезным тоном продолжал Щербак. — Вы, если не ошибаюсь, угостили меня «гусаром»?

— Не я, а вон кто... — глухо буркнул в ответ Баранов, указывая на Гоголя.

— Ну, так не взыщите, батенька: ошибся в адресе. Зачем подвернулись? А вас, Николай Васильевич, покорнейше благодарю!

— Не за что-с, — отвечал Гоголь, на всякий случай ретируясь за Данилевского. — Я сделал это, уверяю вас, из одного человеколюбия: чтобы вас кондрашка не хватил.

— Покорнейше благодарю, — повторил толстяк, проводя ладонью по своему липкому второму подбородку. — Фу ты! Что за притча! Точно кто дегтем вымазал! Вон и муха пристала...

— Не дегтем, а халвой, — откровенно сознался Гоголь, видя, что этого добряка ему нечего уже опасаться.

— Халвой! Тоже из человеколюбия?

— Нет, из мухолюбия.

И школьник изложил свои «мухолюбивые» мотивы с таким благодушным юмором, что совсем обезоружил Щербака.

Гимназистам было искренне жаль, когда к полудню другого дня они добрались до Пирятина и пришлось расстаться с полюбившимся им взрослым спутником, который на прощание каждого из них облобызал в обе щеки.

Впереди оставалось им более полпути. «Для разогнания скуки», были извлечены на свет божий высланные из Васильевки «Образцовые сочинения». Но никому как-то не читалось. В проездных городах — Лохвице и Миргороде, — хотя и провинциально-сонная, но все же городская жизнь развлекала чуткое внимание молодежи; а когда затем открывалось опять перед глазами во все стороны необозримое пространство зеленой степи или волнующейся по ветру золотой пшеницы, и солнечный воздух обдувал лицо чистым степным ароматом, — глаза от слишком яркого света невольно щурились и смыкались, голова в сладкой истоме незаметно склонялась на плечо, и не то дремалось, не то грезилось о чем-то неопределенном, но хорошем...

На третий день на горизонте вынырнула зубчатая стена тополевой аллеи. Данилевский радостно встрепенулся.

— Вот и наше Толстое!

Толстое было имением его отчима, Василия Ивановича Черныша, отстоявшее от Васильевки Гоголей всего в шести верстах.

По мере приближения, из-за тополей замелькали белые мазанки с соломенными крышами; а вот на дороге, навстречу молодым путникам, показались и два пешехода. Один из них снял шляпу, насадил ее на палку и, в виде привета, замахал ею в воздухе.

— Да это папенька: это его матросская шляпа! — вскричал Гоголь и, привстав с сиденья, сам замахал в ответ фуражкой.

— А с ним и наш отчим! — подхватил Данилевский. — Ну, друже Ничипоре, прибавь хоть немножко-то ходу.

Кнут свиснул, и вспаренные, изморенные долгой дорогой кони, словно узнав также вдали своего пана-кормильца, с новыми силами понесли вперед грузный экипаж, вздымая за собой целые тучи дорожной пыли.

Глава девятая

В родном гнезде

Встреча близких людей после долгой разлуки подобна водопаду: чем стремительнее падение воды, тем более шума, пены и брызг; чем задушевнее встреча, тем более ненужных лобызаний, беспричинного смеха, беспорядочных вопросов и ответов.

Уже с добрую четверть часа родовая коляска Гоголей-Яновских стояла посреди пыльной дороги на палящем солнцепеке, а ни оба Гоголя — отец с сыном, — ни Черныш с двумя пасынками не могли досыта наслушаться, наговориться. Впрочем, ни один не дослушивал толком, потому что каждому надо было высыпать поскорее короб новостей, накопившихся у него самого с последней встречи.

Неизвестно, долго ли бы они еще так пересыпали из пустого в порожнее, если бы старик-кучер Ничипор не напомнил барину, что «грешно-де томить бедных коней: оводы их совсем, поди, заедят».

— И то грешно, ведь, Ничипоре, твоя правда, — спохватился тут Василий Афанасьевич и жестом пригласил Черныша сесть в коляску. — Честь и место, Василий Иванович! Мы подвезем вас до поворота. Никоша! садись-ка на козлы, а ты, Федька, слезай вниз, пусти паныча.

— Да вы, Василий Афанасьевич, с сыночком завернули бы к нам на часок в Толстое перекусить трошки? — предложил Черныш.

— Ни, голубчик, в другой уж раз. Моя Марья Ивановна не доспит, не доест, пока сама не накормит своего ненаглядного первенца.

Пять минут спустя, высадив Черныша с пасынками и их поклажей у поворота, оба Гоголя мчались уже к себе на Васильевку (как окрестил по себе свой родной хутор сам Василий Афанасьевич), или Яновщину (как продолжали по старой памяти именовать его местные жители). Переведя дух во время короткого роздыха на дороге и чуя уже близость родной конюшни, измученные кони дружно наддали, а Василий Афанасьевич, горевший нетерпением поскорее доставить жене сынка, торопил еще возницу:

— Валяй, Ничипоре, во всю! Ужо отдохнут, отстоятся.

Насадив свою лощеную матросскую шляпу на самый затылок, он любовно оглядывал сбоку сидевшего рядом с ним гимназиста-сына, и счастливая улыбка настолько преобразила его худощавое и болезненное, но теперь загорелое и разгоряченное от жары лицо, что он казался моложе и свежее своих сорока четырех лет.

— Да, да, так-то, сынку, так-то! — потрепал он мальчика по спине. — На подножный корм, а? После казенной рубленой соломы и простая травка-муравка за сахар покажется?

— А желтые сливы тем паче! — весело отозвался сын.

— Ну, до слив-то еще далеконько. Покуда придется тебе пробавляться черешнями, клубникой да огурцами с медом.

— Мужик с медом, говорят, и лапоть съел. Но каков вообще нынче урожай фруктов, папенька?

— О, божья благодать! Сучья на деревьях индо ломятся; подпорок не напасешься... Да чего ты там не видал-то? Боишься, не убежала ли Васильевка?

Сын уже не слышал вопроса. Привстав с сиденья и держась за козлы, он совсем перегнулся из коляски, чтобы лучше разглядеть манивший впереди цветущий степной оазис.

— Смотри, не упади, — предупредил отец и на всякий случай придерживал его сзади за фалды.

— Не упаду.

— Как это все знакомо и мило: и густой, раскидистый сад, и приветно выглядывающая из-за его верхушек белая, с зеленым куполом церковь, и мелькающие там и сям меж дерев красные кровли и белые трубы...

— Замечаешь, Никоша, новинку? — не без гордости указал Василий Афанасьевич на окаймлявшую сад новую ограду.

Но Никоше было не до новинки: с мягким гулом увязающих в пыли колес, с частым топотом окованных копыт, тяжеловесный дорожный экипаж загнул в обширный, утопающий в зелени двор, и, вспугнув с деревьев и крыш целые тучи воробьев и дроздов, тихо подкатил к господскому дому.

Старая разжиревшая моська и молодой легавый пес первые приветствовали возвращающихся хозяев радостным лаем.

— А, Сюська! Дорогой! здравствуйте, милые, здравствуйте! — говорил молодой паныч, с трудом отбиваясь от бурных ласк двух четвероногих друзей дома, из которых младший, но рослый норовил лизнуть его прямо в губы.

А на крылечке, с распростертыми руками ждала его уже маменька, около которой, с раскрасневшимися щечками, с блестящими глазками, прыгали четыре девчурки. Неужели это его сестренки? Как вытянулись-то! Даже крошка Олечка.

— Ну, вот и дома, в родном гнезде! — говорил Василий Афанасьевич, с самодовольством потирая руки при виде совершающейся перед ним умильной сцены несчетных объятий, поцелуев и восклицаний. — А вот, Никоша, и Семеновна посмотреть тебя приплелась.

Позади Марьи Ивановны в самом деле выжидала уже своей очереди, опираясь на костыль, старушка няня Гапа, титулуемая в доме Семеновной, а посторонними Агафьей Семеновной.

— Соколику мий, лебёдику, сизый голубоньку! — лепетала она беззубыми устами, вся трясясь не то от дряхлости, не то от душевного волнения, и ловя его руку.

— Ну, ну, всех птиц перебрала, кроме вороны да ястреба, — отозвался Никоша и обтер о сюртук руку, на которую из няниных глаз брызнула горячая капля. — Чего рюмишь, старушенция? Слава богу, еще жив, не умер. Да и у вас, маменька, глаза на мокром месте. Полноте, дорогая моя! Дайте-ка сюда платочек — сейчас обсушу.

Говоря так, сам он однако был втайне растроган, и напускной шутливостью старался только замаскировать свою собственную чувствительность.

— Вот и очи просветлели и ланиты алым маком расцвели! Матинько моя риднесенька! ведь вы, право, еще помолодели. Вам сколько теперь будет? — двадцать или уже двадцать один?

— Ну, да! — краснея, улыбнулась в ответ молодая мать, — за тридцать уже перевалило.

— Ого-го, какая старость! мафусаилов век. А помолодели вы по меньшей мере на десять лет — вот и будет ровно двадцать один.

Красивые черты Марьи Ивановны подернулись грустью и она тихо вздохнула.

— Не в летах, голубчик, дело, а в пережитом. Коли утешают кого, что он помолодел, то, значит, молодость уже позади. И я семнадцать лет как замужем, пятерых вас выростила, четверых схоронила...

Она снова поднесла к глазам платок.

— Ну, ну, жиночка любая! Будет тебе о покойниках вспоминать: господь дал, господь и взял, — перебил горюющую муж. — Подлинная старость живет одним прошлым и не знает надежд; а у нас с тобой, погляди-ка, помимо Никоши, целый букетец светлых надежд, свежих бутонов...

— Или телят, обещающих сделаться добрыми коровами, — подхватил сын и ущипнул свою старшую сестру, двенадцатилетнюю Машеньку, в пухлую щеку:

— «Ты пойди, моя коровушка, домой...»

— Фу, Никоша, как тебе не стыдно называть так свою родную сестрицу! — укорила его мать. — Машенька с осени уже обучается у госпожи Арендт, в Полтаве, играет очень недурно на фортепиано...

— Ну, стало быть, музыкальный теленок; а что такое теленок, как не корова в бутоне?

— Что верно — то верно! — со смехом подтвердил Василий Афанасьевич. — А знаешь ли, матинько: соловья баснями не кормят. Хлопчик твой с дороги-то, чай, зело проголодался.

— Ахти, и вправду ведь! Прости, золотой ты мой! — захлопоталась Марья Ивановна. — Обед-то, должно быть, уже поспел. Машенька! загляни-ка, родная, на кухню. А я тем часом проведу Никошу наверх, в светелку: надо ему немножко хоть переодеться, почиститься с дороги...

— Благодарствуйте, маменька; и один управлюсь! — словно обиделся пятнадцатилетний гимназист, что его третируют при сестрах, и поднялся один к себе на вышку.

Из трех небольших горенок светелки он занимал одну; две другие, предназначенные для двух дядей его, двоюродных братьев Марьи Ивановны, — Петра и Павла Петровичей Косяровских, по неделям гостивших в Васильевке, пустовали.

Все у него там было, как прежде: и маленькое, с кисейными занавесками оконце, в которое из сада так и тянулись к нему деревья своими

зелеными, душистыми ветвями; и придвинутый под самое окошко, обитый клеенкой столик с чернильницей, в которой чернила с потонувшими в них мухами давным-давно, конечно пересохли; и табурет с умывальной чашкой и полным кувшином воды, а на стене тут же два расшитых пестрым малороссийским узором полотенца: личное и ручное. Простой комодик, простая кровать; над комодом — подслеповатое зеркальце; над кроватью — образок святого угодника Митрофана. Все — как прежде, так хорошо и так уютно! Тихо, покойно, точно в келье схимника: мечтай себе, сколько душе угодно, — никто не помешает...

— Так ведь и есть! — проговорил вслух юный схимник, поворачиваясь к появившемуся в дверях дядьке Симону. — Маменька, верно, все же прислала?

— Вестимо, маменька, кому же больше? — пробрюзжал в ответ старик. — И не мало, сердечная, горюет, что ты в Нежине столько денег транжиришь: шальных-то денег в доме не ахти сколько.

— Ох, Семене, Семене! Сам же, злодей, видно, донес на меня.

— Не злодей я, батечку, а раб верный, и без лживого доноса выложил все по чистой совести: что капиталов своих беречь не умеешь и себя забижаешь.

— О? Чи так?

— А так, что дам я тебе примерно денег в праздник на бонбошки, а ты, ничего еще сам себе не купивши, как встретишь по пути нищего, норовишь тайком от меня отдать их сейчас прощелыге.

— Почему же прощелыге? Коли человек в рубище, так, видно, ему не красно живется!

— Не красно, само собою; но лучше, значит, не заслужил.

— Нет, уж скорее я по-христиански поделюсь с бедным, чем стану лакомиться, когда он голодает.

— Что говорить! Да надо ж и о себе подумать, да и не обманывать меня, старика: когда другие пансионеры кушают свои лакомства и я тебя спрашиваю: «Что же ты своих не ешь?» — ты в ответ мне, что съел уже, мол. Нехорошо, батечку, ой нехорошо!

— И все это ты так и выложил маменьке?

— Так и выложил, знамое дело, чтоб маленько хоть тебя приструнила.

— Нехорошо, батечку, ой нехорошо!

— Ну да, передразнивай старика! Зато я маменьке прямо так и говорю: «Не давайте ему вперед денег, — все равно пропадут задаром».

— Ай да дядька, нечего сказать! Ну, что, коли маменька тебя в самом деле послушает?

— Послушает ли? — вздохнул дядька. — Молод был — конем был, стар стал — одёр стал. Никто уже не слушает, никому не нужен...

— Ну, мне-то, старина, еще нужен, не горюй; давай-ка живей одеваться.

Недолго погодя, вся семья Гоголей сидела в столовой за обеденным столом. Марья Ивановна накладывала своему дорогому первенцу всякого кушанья: и борща, и молодых цыплят, и вареников полную порцию по два раза, упрашивая, уговаривая:

— Кушай, родимый мой, кушай на здоровье! Вот возьми-ка еще сметанки. Такой в Нежине, об заклад бьюсь, ни за какие деньги не получишь.

— Сметаны-то такой, пожалуй, точно, не найти, — подтвердил Василий Афанасьевич. — Но кормит их там почненнейший Иван Семенович и духовной и телесной пищей, кажись, досыта. Так ведь, Никоша?

— М-гм! — промычал утвердительно Никоша, уплетая свои любимые вареники за обе щеки.

— Ну, так этими ужасными экзаменами изморили, — продолжала соболезновать сына мягкосердная маменька.

— Не бойся, он и сам не даст себя изморить, — успокаивал ее муж. — Способностями молодчика господь не обидел; но лень раньше нас родилась.

— А в следующий класс, однако, ты, Никоша, с успехом перешел?

— М-гм! — подтвердил сын с тем же полным ртом. — За последнюю половину года в среднем из наук у меня четверка, из поведения тоже четверка...

— А из языков?

— Из языков троица...

— Вот видишь ли, Василий Афанасьевич! — обратилась Марья Ивановна с сияющими глазами к мужу. — Он, наверное, пойдет еще далеко.

— Зачем идти, коли на лошадях повезут! — с добродушной иронией заметил Василий Афанасьевич. — Всю жизнь свою будет кататься на тройках да на четверках.

— Смейся, смейся! А вот увидишь, что он, как наш Дмитрий Прокофьевич, станет еще министром.

— Что так мало? Не фельдмаршалом ли?

— И будет, будет, помяни мое слово. Не помнишь разве, что он трех уже лет от роду сам, без всякой помощи, по рисованным игрушечным буквам читать научился и мелом все полы в доме исписывал...

— Чему особенно рада была Семеновна, которой приходилось после него всякий раз мыть полы. Но было тогда нашему искуснику не три года, а без малого пять.

— Три, три! Уж кому лучше-то знать, как не родной матери? В пять же лет он и стихи сочинял.

— У вас, маменька, фантазия очень уж пылкая, — вмешался теперь в спор родителей сын, обтирая рот салфеткой. — Фу! как наелся...

— Да ты, миленький, в самом деле сыт?

— Вот по этих пор, — указал он на горло. — Благодарствуйте. А что до стихов, то они, признаться, и доселе мне еще довольно туго даются.

— Ну, ну, не скромничай! — не унималась чадолюбивая мать. — Не было тебе ведь еще и шести-то лет, как сосед наш, известный писатель Капнист, застал тебя раз в глубокой думе с пером в руке.

«— Ты что это, карапуз? — говорит, — не сочиняешь ли тоже?

— Сочиняю.

— Что такое? Не стихи ли?

— Стихи.

— Вот как! Покажи-ка сюда.

— Не покажу! Я и маменьке не показываю.

— Что ж, ей мы, пожалуй, и не покажем. Но такому-то стихотворцу ты должен показать.»

Уговорил, увел тебя в другую комнату, а как вышел потом оттуда, так в глазах у него даже слезы стояли. Гладит тебя этак по головке и говорит мне:

— Из малыша вашего, Марья Ивановна, выйдет большо-о-ой талант! Дай ему только судьба в руководители учителя-христианина.

— Да! — заключила глубоковерующая Марья Ивановна свой рассказ и благочестиво осенилась крестом на киот в углу. — Первым делом все же

— быть добрым христианином и гражданином. Уповая на бога, всего достигнешь.

— Бог-то бог, но и сам не будь плох, — заметил муж.

— Нет, Василий Афанасьевич, нехорошая это у тебя поговорка. Каков ни будь человек, а захочет господь, — и поможет. Припомни-ка, как соорудилась наша здешняя церковь.

— Как?

— Ужли забыл? Все тем же высшим произволением. Сколько неудобств, бывало, терпели наши люди от того, что должны были молиться в отдаленном чужом приходе и во всякую погоду переезжать реку Голтву. Стала я тогда просить тебя выстроить у нас в Васильевке свою церковь.

«— Помилуй, Машенька! — удивился ты моей просьбе, — Откуда же мне средств на то взять? И пятисот рублей на хозяйские потребности не набрать, а тут, поди-ка-сь, целую церковь сооружай!

— Господь захочет, — говорю, — найдутся средства.»

И что же ведь? Все устроилось как по-писанному. Сперва приехала моя маменька (царство ей небесное!), стала также тебя уговаривать. На другой день завернул из Кабинец архитектор-итальянец и по просьбе моей охотно сделал план церкви на двести душ. А тут, как на заказ, явился и каменщик: не найдется-ли-де ему у нас работы? Показали мы ему план архитекторский, спросили, что возьмет за то, чтобы наделать кирпича с нашими рабочими. И сговорились на пяти тысячах. Приступил он к работе, брал деньги по частям…

— Но потом стал плакаться, что продешевил, и просил надбавки, — вставил Василий Афанасьевич.

— Ну, и прибавили мы ему тысячу. Зато не далее, как через два года, с божьей помощью, церковь была сооружена вчерне. Съездили мы с тобой в Ромны, на Ильинскую ярмарку, переменили старое серебро на церковные вещи. А еще через год в новом храме началось и служение! Оставалось лишь плащаницу изготовить. А ту изготовили. Господь, Василий Афанасьевич, говорю тебе, никогда не оставляет уповающих.

— Убедила, матинько, лучше стряпчего. Будем же уповать, что из сынка нашего выйдет если не министр, то хоть средней руки порядочный человек. А то, поглядите-ка, похож ли он теперь на министра: подкладка в рукаве изодрана, локоть продран…

— Все, все исправим, починим, не беспокойся, — горячо вступилась Марья Ивановна за неряху-сына. — Притом же гениальные люди вообще, говорят, неряшливы.

— Ну, нет, матушка, извини. Коли иные и неряшливы, то из этого еще отнюдь не следует, чтобы всякий неряха был сейчас и гениальным человеком. Опрятность — щегольство бедных людей, а мы, сама знаешь, какие крезы. Гениальными детьми хоть пруд пруди, а гениальных людей в целом свете один, два — и обчелся. А отчего? Оттого же, я полагаю, отчего всякий поросенок премил, доколе не вырастет в толстую хавронью, которую уже никто в рыло не поцелует. Однако ты, сынку, я вижу, зеваешь. Ходи-ка к себе наверх и лягай спати.

— Я, папенька, вовсе не так уже устал с дороги...

— Устал, устал! — перебила Марья Ивановна. — Мы с папенькой лучше тебя знаем.

И мальчику волей-неволей пришлось уступить настояниям родителей и подняться на свою вышку. Впрочем, у него тотчас нашлись туда два компаньона: Сюська и Дорогой. Моська, пыхтя, вскочила на придвинутый к кровати стул, чтобы перебраться оттуда на самую кровать; а менее избалованный легавый пес растянулся тут же на полу, на стареньком коврике. Не прошло двух минут времени, как комната огласилась двойным собачьим храпом, а еще спустя минуту к этому дуэту присоединилась более деликатная носовая флейта молодого паныча.

Глава десятая

Васильевская Аркадия

Солнце спустилось уже довольно низко, когда Гоголь протер опять глаза. Двух четвероногих товарищей при нем уже не было, но полурастворенная дверь показывала, куда они девались. Освежив себе лицо водой и наскоро пройдясь гребешком сквозь всклокоченную гриву, Гоголь на ходу накинул легкую домашнюю блузу, когда заметил на столе перед окошком полную до краев тарелку крупной спелой клубники.

«Маменька, конечно!» — сообразил он и отправил одну ягодку в рот, а стебелек выбросил в открытое окошко. «Однако, какая сладкая попалась!»

Но и вторая ягодка, и третья, и десятая оказались, видно, не менее сладки, потому что в самое короткое время тарелка совсем опустела.

Когда Гоголь стал спускаться по скрипучим ступенькам деревянной лесенки в нижнее жилье, навстречу ему с крыльца донеслось щебетанье целого хора звонких женских голосов, сквозь которые раздавался мужской тенорок.

«Ну, офеня-ходебщик!»

Он не ошибся. На крыльце представилась давно знакомая картина: весь наличный женский персонал — как из барских покоев, так и из девичьей и кухни, от мала до велика — столпился вокруг коробейника, выгрузившего из своих объемистых коробов на пол самые разнообразные «галантереи» и медовым голоском выхваливавшего доброту и красоту всякой штуки.

Как тут было устоять? И менее всех устояла сама хозяйка: на полу около нее громоздилась уже целая горка дешевеньких материй, разных полезных принадлежностей женского рукоделия и бесполезных украшений и безделушек.

— И куда ты это, матинько, такую уйму забираешь? — корила ее глава девичьей и детской, няня Гапа. — Кажись, мать семейства, а на-ка, поди, ровно малолетняя: всякую-то дрянь даешь навязать себе этому идолу.

— Да надо ж, Семеновна, всех чем ни есть наделить... — виновато оправдывалась молодая барыня перед скопидомкой-старушкой.

— Наделяй, сударыня, наделяй щедрой рукой, — подбивал ее торговец, — господь воздаст тебе сторицей.

— И то, маменька, право, куда нам столько разных разностей? — подала теперь голос двенадцатилетняя Машенька, более практичная, чем мать. — Ведь на все это сколько у вас рублей уйдет!

— В долг поверю, барышня милая, даром бери, чего душенька просит, не жалей меня! — не унимался офеня. — А вот и молодой паныч! Со счастливым приездом! Не купишь ли тоже чего, сударик?

— А! встал, Никоша? — радостно обернулась Марья Ивановна к сыну. — Отдохнул хоть немножечко?

— Эге, даже множечко.

— А клубники покушал?

— Покушал, благодарствуйте. Совсем спелая и пресладкая. Верно, сами набрали?

— Да как же иначе, голубчик? С грядок ты, боже упаси, сырой бы еще объелся. Вот я взяла тут тоже для тебя, посмотри-ка, цветных карандашей, тетрадку для рисования...

— Ай, мамо, мамо! А Симон еще корит меня, что зря деньги транжирю. От кого я этому научился, как не от милой моей мамы?

— Шалун! — улыбнулась Марья Ивановна. — Что тебе, Ганна?

— Ох, лишенько тяжке, пани! — заявила Ганна, старшая скотница, протискиваясь к барыне. — Лучшая телка наша Мелашка оступилась и копыто себе свернула.

— Бедненькая! И, верно, очень мучается?

— Как не мучиться: ступить не может, мычит себе, знай, таково жалостно…

Сердобольная и чувствительная Марья Ивановна обеими ладонями зажала себе уши.

— Бога ради, Ганнуся, молчи, не рассказывай: слышать больно!

— Но как же быть-то нам с ней, пани: помазать ли чем копыто, позвать ли костоправа…

— Делай, как знаешь, милая. Кому же знать о том, как не тебе?

— Но все бы лучше, пани, кабы ты наперед сама взглянула.

— Нет, нет, родная, пожалуйста, уволь! Не выношу я чужих мучений! Да и время ли теперь? Сама видишь. Вот тебе новый платок, и ступай себе с богом, ступай.

Присутствовавший при таком хозяйственном распоряжении матери сын только тихо вздохнул и пожал плечом.

— А где, маменька, пан-батько?

— Папенька? Где ему быть, садоводу, как не в саду у себя? С утра до вечера в земле копается.

— Так я до него теперечки утечу.

Перешагнув через разложенные на полу товары, он сошел с крыльца во двор, а оттуда направился прямо в сад, где свернул в укромную боковую аллею. Художественный вкус, унаследованный от обоих родителей, начал уже проявляться в будущем художнике слова. Впивая полной грудью чистый деревенский воздух, пропитанный ароматом свежескошенной травы, Гоголь остановился на ходу и залюбовался. Косые лучи вечернего солнца золотыми стрелами врывались меж стволами деревьев в тенистую аллею, озаряя яркими бликами и дорогу, и окружающую листву, и светившееся меж зелени зеркало пруда.

Наглядевшись, он побрел далее, обогнул пруд и вышел к небольшому холмику с беседкой.

«Беседка мечтаний! — прошептал он про себя. — А вот и грот дриад…»

Василий Афанасьевич, романтик старой школы, всякому излюбленному месту в своих владениях присвоил какое-нибудь поэтическое название. Сын, питавший к отцу глубокое почтение, можно сказать, благоговение, не находил ничего странного в этих вычурных, освященных уже временем названиях; а теперь, при виде *грота дриад*, лицо его приняло даже меланхолическое выражение: при самом входе в темный грот, укрытый под густой сенью лип и акаций, лежал большой дикий камень, на котором он, Никоша, играл когда-то еще трехлетним мальчишкой.

В том же раздумьи он продолжал путь ко второму, большому пруду, обсаженному с обеих сторон любимыми деревьями Василия Афанасьевича: дубами да кленами. Папенька ведь вместе с ним, Никошей, насадил их. Давно ли кажется? А как с тех пор разрослись-то!

А вон и сам папенька: стоит неподвижно, опершись на заступ, посреди лужайки, и в глубокой думе уставился в землю.

Сын подошел к отцу.

— Вы, папенька, над чем опять голову ломаете?

— А! это ты, сынку? — очнувшись, промолвил Василий Афанасьевич. — Да вот поперек лужайки тут, видишь, свежая тропиночка протоптана? Явное указание на живую потребность. Вот я и раскидываю теперь умом, как бы так мне проложить новую тропу, дабы ей пользовались стар и мал без потравы, а с тем вместе не нарушалась и общая гармония прежней планировки. Пообсудим-ка купно: ум хорошо, а два лучше.

И стали отец с сыном обсуждать «купно», пока не остановили своего выбора на излучистой линии, наиболее «гармонировавшей» с существующими дорожками.

— Оце добре, — сказал Василий Афанасьевич с повеселевшим лицом. — Завтра же спозаранку, благословясь, приступим к делу. Нет, дружок, ничего здоровее для всякого, даже образованного человека, как этакая работа мышцев на вольном воздухе. Жил-был раз богач-вельможа. Всего-то у него была полная чаша, был и мастер-повар, да никак не умел ему по вкусу потрафить.

«Шут тебя знает! — говорит ему барин, — как ты, братику, готовишь нынче: не то горько, не то сладко, не то кисло, словно разучился приправу подбирать».

«Подмышка близко, да не укусишь, — в ответ ему повар, — нет у нас с тобой, добродию, главных приправ».

«Каких таких?»

«А голода да жажды, работы до пота».

— Знаете, папенька, — заметил Никоша, — мне думается, что, работая этак под открытым небом, здоровеешь не только телом, но и духом.

— К этому, милый, я и речь веду. Прочел я как-то в одном журнале переводную статейку, три раза перечел, дословно почти в памяти запечатлел. «Господь создал человека из *земли*, а не из *небес*, дабы замыслы его не захватывали всего мироздания; не из *воздуха*, дабы громом и молнией не разорвало груди его; не из *огня*, дабы он не собирал горячих угольев над главой ближнего; не из *воды*, дабы чудища и гады подводные не распологались в недрах его сердца. Создал он человека из *земли*, дабы человек благотворил, как земля, изливающая свои живительные жилы явно и тайно; дабы он был благодарен, как земля, воздающая за каждое зернышко сторицей; дабы он был незлобив, как земля, отплачивающая неиссякаемым ключом благодати и тому, кто глубоко грудь ей пронзает. Создавая человека, для ушей его — струю *воздуха*с его звуком, для уст его — луч *солнца*, а в сердце ему влил *капельку*из хляби морской, и оттого-то в сердце человеческом вечный прилив и отлив, оттого-то дивная капелька возвращается светлой слезой к небесам очей!»

Василий Афанасьевич вдруг замолк и насторожился. С одного берега большого пруда донеслось звучное щелканье соловья, а с другого в ответ посыпались стеклянные перлы трелей. Отец с восторженной улыбкой взглянул на сына.

— В Нежине у вас таких, небось, нет? — спросил он шепотом. — Второй пожаловал к нам только со вчерашнего вечера.

— А я к пану добродию... — раздался в это самое время в двух шагах от них развязно-почтительный голос, и они увидели около себя Левка, васильевского приказчика, незаметно, точно из земли выросшего перед ними.

Василий Афанасьевич внушительно приподнял палец:

— Т-с! Що там таке? Не видишь, что ли, что мы с панычем соловьев слушаем?

— Вижу, пане, — еще мягче, виновато отвечал Левко. — Но покупателю-москалю к спеху: нарочито с ярмонки из Яресок проездом к нам завернул и до утра еще хочет поспеть в Полтаву. Не продашь ли, пане, с поля гречиху? Первый покупатель дороже денег.

— Зачем не продать. Но мне теперь, сам посуди, до гречихи ли! Иди к пани: пускай за меня порешит дело.

— Пани тоже не до того-с: с офеней балакает. А купец-то обстоятельный: весь хлеб оглядел в поле и цену дает звычайную.

— Очень рад. Так ты, Левко, и сговорись с ним; тебе и книги в руки. Ужо мне доложишь.

— Слушаем-с, — сказал приказчик и с поклоном отретировался.

— Простите, папенька, но вы ужасно доверчивы, — позволил себе заметить Никоша. — Уходя, Левко так хитро про себя улыбнулся...

— Лисий хвост да волчий рот — верно, — согласился Василий Афанасьевич. — Но за то и хозяйские интересы блюдет, не даст покупателю себя оплести. А при мне они поделились бы в барышах: мне убыточней. Из двух зол, дружок, надо выбирать меньшее и утешать себя иным. Мало ли прекрасного на божьем свете!.. Чу! слышишь, дуэт-то? какие коленца шельмецы выводят!

Два соловья, в самом деле, продолжали перекликаться удивительно звонко и искусно. Но, на беду, от большого пруда долетело громкое, ни мало уже не мелодическое шлепанье как бы деревянным валком по мокрому белью, и оба певца разом умолкли.

— А, бисовы прачки! — вознегодовал Василий Афанасьевич. — Сколько раз повторять им, чтобы не смели полоскать там белье и пугать моих песенников. Придется опять разнести их.

Но, спустившись с сыном к тому месту пруда, откуда доносилось шлепанье, Василий Афанасьевич успел настолько уже остыть, что «разнес» ослушниц отечески-миролюбиво, и те, ни мало не смутясь, стали просить пана — дозволить дополоскать белье, благо соловьи и так уже перестали петь.

— Ну, кончайте на сей раз. Бог вам судья! — смилостивился сговорчивый барин. — Но напредки чтобы у меня этого уже не было!

— Не будет, пане, нет.

— Оце добре. Кстати же вот, как пойдете до дому, отнесите туда и мой заступ. А нам, сынку, не вредно, я полагаю, до ужина еще ноги промять хоть бы до « *Долины спокойствия*», дабы успокоиться духом после сей двойной передряги с Левком и бабьем?

Глава одиннадцатая

Семейная хроника

— А славно ведь у нас тут, на лоне природы? — говорил отец сыну, когда они через огороженную плетнем широкую поляну добрались до соседнего леска, у других попросту называвшегося « *Яворовщиной*» от росшего там в большом числе явора (иначе платан или чинар), а Василием Афанасьевичем переименованного в « *Долину спокойствия*».

— Дивно! никуда бы носу не показал, — подтвердил сын. — И тем досадней ведь, что не нынче — завтра придется опять в Яраски, на поклон к старику Трощинскому.

— Без этого, дружок, никак невозможно: надо уважить достопочтенного старца и нашего семейного рачителя. Но до времени-то, впрочем, Дмитрий Прокофьевич еще у себя в Кибинцах, на зимних квартирах.

— Что же он, папенька, так запоздал перебраться в свою летнюю резиденцию?

— А к Ольгину дню, 11 июля, ожидает, вишь, к себе дорогого, именитого гостя — князя Репнина, Николая Григорьевича: тому никак нельзя быть ко дню рождения и именин его высокопревосходительства — 26 октября; так вот Дмитрий Прокофьевич и выбрал день именин своей красавицы-племянницы Ольги Дмитриевны; вперед зазвал уже полный дом гостей. А в миргородских Афинах куда авантажней задать такой фестиваль, где и свой домашний театр...

— И вы, как всегда, будете руководить спектаклем?

— Да, без меня им не обойтись; но, экстренного случая ради, спектакль будет не с крепостными актерами, а любительский — из нашей же братьи, дворян. Ставлю я своего « *Простака*», и сам выступаю в заглавной роли.

— Кому же ее исполнять, как не вам? Ах, папенька! у меня к вам большая просьба...

— Ну, что такое?

— Предоставьте мне одну маленькую рольку, хоть бы дьячка!

— Эк куда хватил!

— Да я в Нежине играл уже в трех пьесах, и с успехом; а вашего «Простака» знаю почти как «Отче наш». Умоляю вас, милый папенька...

— Во-первых, голубчик, роль Хомы Григоровича вовсе не такая маленькая; во-вторых, она уже обещана...

— Кому?

— Павлу Степановичу, с которым мы ее даже прорепетировали...

— О! я его упрошу уступить ее мне. Только вы, папенька, пожалуйста, не противьтесь; он хоть упрям, как всякий хохол, но добр...

— Побачимо, побачимо, як попадеться нашему теляти вовка пиймати. Странное, право, дело: от кого у тебя, Никоша, эта страсть к сцене?

— Очень странно! — рассмеялся Никоша, — отец терпеть не может театра, а сын им только бредит! Может статься, впрочем, в нашей семье и раньше уже были записные актеры?

— Нет, бог миловал. Род Гоголей-Яновских старый дворянский [27], так же, как и род моей покойной маменьки, а твоей бабушки, Татьяны Семеновны: по отцу своему она происходила прямехонько от *Якова Лизогуба*, генерал-фельдцейхмейстера Великого Петра, а по матери — от знатного шляхтича, киевского полковника *Танского*, который выселился из Польши также еще при Петре и со славой воевал в царском войске против шведов.

— А правду, папенька, говорят, что дедушка Афанасий Демьянович бабушку Татьяну Семеновну из родительского дома выкрал?

— «Выкрал»! Разве можно, Никоша, о родном деде своем так выражаться?

— А как же сказать-то?

— Похитил.

— Но для чего ему было похищать ее? Родители бабушки, стало быть, были против их брака?

— Стало быть. Дедушка твой хоть и был человек с образованием, потому что окончил Киевскую духовную академию и потом учительствовал, но, по мнению Семена Лизогуба, он все же, как бурсак, был не чета его, бунчукового товарища, дочери.

— Так где же те сошлись так близко без ведома родителей? Дедушка, верно, был вхож в дом Лизогубов?

— Да, он обучал детей у ближайших их соседей и так успешно, особенно языкам латинскому и немецкому, что отец Татьяны Семеновны, совсем молоденькой еще тогда барышни, пригласил его давать и ей уроки.

— Из латыни?

— А уж о сем история умалчивает; вернее же, из немецкого. Известно только, что уроки прервались внезапно: в один прекрасный день учитель переслал ученице в скорлупе грецкого ореха записочку, в коей предлагал ей руку и сердце.

— Каков дедушка-то! И бабушка тотчас согласилась?

— Не тотчас. Дело обошлось не без душевной борьбы. Но в конце концов уступила.

— И тайно обвенчалась? Точно как в романе! А родители бабушки что же?

— Что им оставалось? Положили гнев на милость.

— А что, папенька, вы позволите мне еще один вопрос, который меня, как сына, интересует более, чем всякого другого: у вас самих-то с маменькой не было романа?

Черты Василия Афанасьевича приняли торжественно-серьезное выражение. Помолчав немного, он пытливо заглянул в глаза сына и промолвил:

— Романа в смысле ряда занимательных приключений у нас не было, да и быть не могло: я был уже подростком, когда маменька твоя была еще в пеленках; а когда я к ней присватался, ей было всего 13 лет. До романов ли тут? Нет, то была простая, но самая светлая идиллия, какой ни Гесснеру, ни Карамзину во век бы не выдумать.

— Все равно, папенька, расскажите, пожалуйста, как это было! Вы такой бесподобный рассказчик...

— Забавные анекдоты передавать я, точно, умею, но тут, друг мой, дело иное: глубокие, нежные сантименты, для твоего возраста недоступные...

— Но понять-то их все-таки не мудрость какая? Не такой же я малолетний! Голубчик папенька!..

— Гм... В некотором отношении тебе, молокососу, пожалуй, в самом деле небесполезно получить благовременно понятие о чистых идиллических чувствах, тем более, что — почем знать? — придется ли еще нам с тобой говорить об этом, долго ли еще проживу я?

— Что вы, папенька!

— Да, дружок, все мы под богом ходим... С чего начать-то?

— А с первой встречи вашей с маменькой.

— Что разуметь под нашей первой встречей? Был я тогда таким вот, как ты, беспардонным школяром. Папенька мой, дослужившись до чина полкового писаря, а по нынешнему — майора, записал меня, по обычаю того времени, чуть не со дня рождения в военную службу, и семи лет я уже числился заочно корнетом. Но воспитывался я, как и папенька, в бурсе. Так-то вот мне, тринадцатилетнему бурсаку, явилась в сновидении Царица Небесная и указала мне девочку-младенца, якобы мою будущую спутницу жизни. Недолго погодя меня повезли к Трощинским вЯрески. Сам Дмитрий Прокофьевич служил тогда еще в Петербурге, и застали мы в Ятесках только бабушку, Анну Матвеевну.

— Она ведь вдова его старшего брата, Андрея Прокофьевича?

— Да, и через нее-то, урожденную Косяровскую, родную тетку твоей маменьки, мы и состоим в родстве с Трощинскими. Единственный сын ее, Андрей Андреевич, состоял уже тогда на военной службе, и, скучая одна в деревне, она взяла к себе на воспитание шестинедельную племянницу Машеньку, дочку своего брата, Ивана Матвеевича Косяровского, служившего в то время в Орле. Как улицезрел я ее тут, младенца, так моментально признал в ней свою нареченную из вещего сна, мигом понял, что вот с кем судьба моя связана навеки… И в таковом-то непоколебимом убеждении я, подрастая и мужая, издали тихомолком наблюдал с тайным восхищением, как малютка из года в год превращалась в прелестнейшую девочку.

— Так маменька уже девочкой была хороша собой?

— Прелестна, говорю тебе! Для меня, по крайней мере, милее ее в целом мире ни раньше, ни позже никого не бывало. Но замечательнее всего была у нее нежность, белизна кожи, за которую бабушка Анна Матвеевна так и прозвала ее «белянкой».

— А у кого училась маменька?

— Читать да писать? Все у нее же — добрейшей своей тетушки. Девочка так привязалась к тетке, что горько плакала, когда отец, выйдя в отставку, потребовал ее к себе. На усиленные просьбы Анны Матвеевны он вскоре возвратил ей девочку. Но когда он затем снова поступил на службу почтмейстером в Харькове, то вторично отобрал ее у тетки. Раньше, на военной службе, он уже лишился одного глаза, и доктора настояли на том, чтобы он окончательно подал в отставку. Тут он со всей семьей, в том числе и с Машенькой, поселился на хуторе по соседству от нас.

— То-то, я думаю, вам была радость! И часто вы их там навещали?

— Вначале не так часто: отца ее стеснялся. Но однажды как-то я заехал к старику посоветоваться насчет службы в Харькове. А он давно уже прихварывал, и мысли о смерти все чаще его беспокоили. «Не о себе тревожусь, — сказал он мне тут и дал указание на детей, — вот моя забота». А я взлянул на Машеньку, которой в скорости тринадцать должно было стукнуть, и подумал про себя: «От одной-то я вас скоро избавлю!»

— Но тогда еще не объяснились?

— Нет, потому что искал случая сперва объясниться с ней самой.

— Так маменька по детской невинности своей ничего еще не замечала?

— Как уж не заметить? Особливо, когда она, случалось, гостила у тетки в Ятресках, а я ни с того, ни с сего то и дело наезжал к ним, либо летним вечером, бывало, с того берега Пела музыкой ей весть о себе подавал. И выйдет она с девушками, как в старые времена боярышня с мамками, няньками да сенными девушками, погулять по бережку; а я по той стороне речки, из-под кустов, невидимым пастушком музыцирую вслед за ними. Словом, новейшие Филимон и Бавкида.

— Но в конце концов-то все же изъяснились?

— Да, и сделалось оно как-то само собой. Завернул я опять к ним, будто мимоездом. Анна Матвеевна куда-то отлучилась по хозяйству, а на вопрос мой людям: где барышня? — «вышли, мол, в сад погулять». Спустился и я в сад. Тут Машенька мне из боковой аллейки прямо навстречу. Столкнулись лицом к лицу.

Ах!

Вся, голубушка, так и вспыхнула огнем, словно почуяла сердцем, что вот когда должна судьба ее решиться, и без оглядки порх от меня вон. Я же за ней, нагнал уже в доме.

— Куда вы, Марья Ивановна? Погодите же меня.

Остановилась, еле дух переводит и глаз поднять не смеет.

— Разве я такой уж страшный?

Молчит, сама как лист дрожит. Жаль мне ее стало, бедненькую, ободрить хотелось.

— Слышали вы намедни мою музыку? — говорю.

— Слышала...

А у самой углы милого алого ротика, знай, подергивает, точно слезы близко.

— Что же, верно, не понравилось?

— Понравилось. Но...

Запнулась и опять замолкла.

— Но что же-с?

— Больше слушать вас мне никак нельзя-с.

— О! это почему же?

— Потому что, когда я рассказала про вашу музыку тетеньке, она строго-настрого запретила мне ходить так далеко от дому...

И на ресницах у девоньки моей заблистали две слезинки. Тут я уже не вытерпел, взял ее за ручку.

— Милая Машенька! — говорю. — Скажите-ка по душе: любите вы меня или нет?

— Люблю-с… — говорит, — как всех людей.

— Как всех? Ничуть не больше?

— Н-нет-с.

И отдернула ручку. В разговоре нашем мы так и не заметили, как вошла в комнату Анна Матвеевна.

— Что у вас тут, милые мои? — говорит, а сама улыбается.

Вспорхнулась Машенька — и была такова. У меня же вопрос был решен бесповоротно, и я тут же изложил Анне Матвеевне, что так, мол и так, желал бы связать судьбу свою с судьбой ее племянницы вечными узами, да вот еще сомневаюсь в ее чувствах.

— Не сомневайтесь, друг мой, — сказала мне добрая Анна Матвеевна. — Машенька уже призналась мне как-то, что без вас скучает, что чувствует к вам что-то особенное.

— Но любит ли она меня?

— Об этом спросите ее сами.

— Сейчас вот только справлялся и получил в ответ, что «любит, как всех людей, ничуть не больше».

— Ну, это было сказано со страху, — объяснила с улыбкой Анна Матвеевна.

— Чего же ей бояться?

— А я ее, видите ли, напугала, что все вы, мужчины, прелукавый народ…»

Василий Афанасьевич остановился в своем рассказе и тихонько про себя засвистал.

Когда сын вопросительно поднял глаза, то увидел, что отец, погруженный в приятные мечтания, с блаженной улыбкой загляделся куда-то вдаль.

— Это, папенька, вы какую мелодию свищите? — полюбопытствовал мальчик. — Не ту ли, которой вы с того берега маменьке о себе весть подавали?

— Ту самую... Нет для меня ее милее!

— А дальше что же было?

— Дальше?.. Все как по-писанному. Анна Матвеевна не замедлила съездить к отцу Машеньки и получить его согласие. Свадьбу отложили еще на год, чтобы невесте было хоть четырнадцать лет, да чтобы было когда приданое изготовить.

— И сама она ничего уже не возражала?

— Возражала одно: что подруги, дескать, смеяться станут: «Такая маленькая и уже замуж идет!» Но когда нас сговорили, она всякий раз была очень рада моим приездам. Письма же мои не решалась еще распечатывать, а передавала отцу.

— А отец?

— Отец перечтет, бывало, да с усмешкой возвратит ей: «И откуда у молодчика все эти сладости берутся? Видно, романов начитался!»

— Но дочери сладости ваши приходились, верно, по вкусу?

— О да! Она носила мои письма всегда при себе на груди; а когда вышла замуж, то перевязала розовым шнурочком и спрятала в комод на самое донышко потайного ящика, где они и доныне у нее хранятся.

— Вот бы взглянуть, право: как вы, папенька, тогда в чувствах изъяснялись! Я непременно попрошу маменьку показать мне.

— Не беспокойся, не покажет: это для нее такая реликвия, которой еще никто другой не видел. Как-то раз сам я хотел их изорвать, так с ней чуть истерики не сделалось.

— Значит, очень уж сердечно написаны?

— Видно, что так. Чем долее отлагалась свадьба, тем сильнее разгоралось мое сердце. Та же буря, что задувает маленькое пламя, пуще раздувает большое.

— И где же вас наконец повенчали? В Specifiesресках?

— Да, у тетки. У нее же я должен был покамест и женочку свою оставить; после чего она еще у отца погостила. Я же часто наезжал к ней из Васильевки от моих собственных родителей, которые оба были тогда еще живы. Спустя месяц, мои родители съездили за своей богоданной дочкой. Она была ведь еще полуребенок, но так мила, что старики мои не могли налюбоваться, надышаться на нее. Особенно покойная маменька нянчилась с ней, обряжала ее, как куколку, в свои лучшие платья, не давала ей пальцем коснуться хозяйства...

— Оттого-то, должно быть, наша маменька и до сегодняшнего дня не так-то практична.

— Ну, ну, ну, сделай милость! — обиделся за свою Машеньку старый романтик. — Однако солнышко-то, смотри-ка, совсем спряталось, а вечерняя звезда вон домой нам дорогу кажет: «ужинать, мол, пора».

Действительно, когда они, вернувшись восвояси, вошли в столовую, Марья Ивановна уже хлопотала около накрытого стола.

— Слава тебе, господи! — вздохнула она с облегчением. — Где это вы пропадали? Верно, опять, гуляя, заболтались?

— Заболтались, жиночку, заболтались, — весело отозвался Василий Афанасьевич. — Да ведь и тема же какая!

— Какая?

— Богатейшая — наш собственный с тобой роман супружеский.

— Полно тебе, Василий Афанасьевич, при сыне глупости говорить! — со степенным видом заметила Марья Ивановна. — Да куда это девочки опять запропастились? Машенька! Анненька! Лизонька! Олечка! где вы?

— Не глупости, матинько, а святая истина, — с чувством говорил Василий Афанасьевич. — Ну, не сердись, душенька, поцелуй меня!

— Я не сержусь, — отвечала Марья Ивановна, послушно целуя мужа.

На эту идиллическую сцену влетели в горницу четыре маленькие зрительницы — дочери.

— Папенька с маменькой целуются! папенька с маменькой целуются! — заликовали они на весь дом и, как козочки, запрыгали вокруг обнявшихся родителей.

Марья Ивановна, сконфузясь, поспешила оттолкнуть от себя мужа.

— Вот видишь ли! — укорила она его. — Ты все со своими нежностями! А галушки тем временем совсем, пожалуй, разварились. Эй! кто там? подать поскорее галушки!

Глава двенадцатая

Генеральная репетиция «Простака»

Накануне Ольгина дня, десятого июля, Гоголи — отец с сыном — двинулись в своей родовой желтой коляске в Кибинцы на предстоящий семейный праздник Дмитрия Прокофьевича Трощинского. Была у них еще третья спутница, но не Марья Ивановна, чуждавшаяся большого общества, а близкая соседка их, Александра Федоровна Тимченко,

барышня лет 22–23-х. Крайне застенчивый с другими барышнями, Никоша обходился с Александрой Федоровной без всякого стеснения и шутя называл ее «сестрицей», потому что знал ее еще с малолетства, когда она долгое время провела у них в Васильевке. Александра Федоровна, простая, скромная провинциалка, при чужих также стушевывалась. С близкими же людьми ее веселый нрав выступал наружу. Так она охотно смеялась над всякими пустяками, охотно переряжалась на святках — даже в мужское платье, и однажды, одевшись евреем, чрезвычайно типично изобразила и речью и ухватками, как Ицка пьет водку. Подражательная способность ее подала мысль Василию Афанасьевичу — завербовать талантливую барышню для своего любительского спектакля, в котором для себя предназначил главную мужскую роль, а для нее — главную женскую. Сама Александра Федоровна, не будучи вхожа в дом «кибинцского царька» (как титуловался теперь бывший министр юстиции в целом околотке), в тайне, однако, давно жаждала хоть раз-то заглянуть в его «царские чертоги», увидеть во всем блеске собирающуюся там местную знать. Поэтому Василию Афанасьевичу не стоило особенного труда склонить ее принять участие в спектакле.

— За роль-то свою я не боюсь, — признавалась она своим двум спутникам, — притом мы с вами, Василий Афанасьевич, столько раз прошли уже пьесу, а ведь в театральном костюме, вперед знаю, я буду чувствовать себя еще гораздо развязнее, точно я — не я, а совсем другая; но все-таки как-то жутко, невольно сердце сжимается, когда попадешь в первый раз в жизни в самые сливки общества…

— Не просто в сливки, а в сметану, — подхватил Никоша, — потому что «кибинцский царек» чем не сметанный?

— Благодетеля своего, Никоша, сделай милость, не порочь, — серьезно внушил сыну Василий Афанасьевич. — Во-первых, это и неблагодарно: по его только могучему представительству, ты освобожден в гимназии от учебной платы по тысяче двести рублей в год — легко сказать! А во-вторых, что мы с тобой, скажи, перед ним, сановным царедворцем? Песчинки малые!

— Вы-то сами не песчинка, — позволила себе возразить Александра Федоровна, — вы были, кажется, когда-то даже его личным секретарем?

— Был; да что секретарь этакого государственного деятеля? Бледная тень его. И мне, привыкшему здесь, в деревне, с младых ногтей к воле, было, признаться, все же отрадней оставаться самим собой, хоть и малым человеком, чем креатурой, ласкателем мужа, хотя бы и нарочито цесарского. Затем-то, при всем моем высокопочитании к его высокопревосходительству, я в скором времени уволился от секретарства.

— Вот, видите ли! А теперь он опять в вас нуждается: вы — его правая рука при всех домашних торжествах.

— И за честь почитаю! Другого подобного ему замечательного человека во всей нашей Украине с фонарем поискать. Муж разума глубокого и куда искусный в гражданских вещах, сам пробивший себе дорогу до первых шаржей. Дворянство свое Трощинские хоть и доводят до шестнадцатого века, но, подвергшись разным превратностям, долго обретались не в авантаже. У родителей нашего Дмитрия Прокофьевича имелась только маленькая благоприобретенная землица, часть нынешних Яресок.

— Так детство свое Дмитрий Прокофьевич провел, значит, в Working ययресках?

— Да, вместе с тремя старшими братьями, пока его не отдали в киевскую семинарию, а затем и в академию, откуда он был выпущен с отличием. Счастливая звезда стояла над ним; то было время первой Турецкой войны при Великой Екатерине, и судьба закинула его в наш полковой штаб в Яссах. Здесь он скоро выдвинулся среди других гражданских чинов штаба, и генерал-аншеф князь Николай Васильевич Репнин, полномочный посол наш в Константинополе, сразу его отличил, полюбил и взял к себе в правители канцелярии. С этой ступени Дмитрий Прокофьевич зашагал все выше да выше — до министра уделов, а потом и юстиции. Когда же он, меж двух министерских постов, отдыхал здесь, в Кибинцах, на заслуженных лаврах, полтавское дворянство избрало его в губернские маршалы. С почетом пришли сами собой и земные блага.

— То-то он так роскошно, говорят, устроился в своих чертогах.

— Не столько роскошно, сколько с толком и со вкусом: завел себе громадную библиотеку, множество драгоценных картин знаменитых мастеров, всякого рода коллекции: оружия, монет и медалей, разные редкости, как например, подлинные фарфоровые часы, подсвечники и бюро злополучной королевы Марии-Антуанетты… Как был он весь свой век покровителем окружающих, заслужив прозвание «бича справедливости и защитника бедных», так под старость сделался покровителем искусств, новым Периклом в миргородских Афинах.

— Этакий ведь счастливец!

— Счастливец? — со вздохом повторил Василий Афанасьевич и, понизив голос, чтобы кучер и слуга на козлах не расслышали, прибавил. — А все-таки, между нами сказать, я, безвестный и небогатый человек, не поменялся бы с этим счастливцем!

— Отчего же нет?

— Оттого, что он одинок, как перст: ни жены, ни детей. Есть у него, правда, племянник, Андрей Андреевич, тоже генерал и прекрасный

человек, а все только сын брата, не свое родное детище! И все радости земные ему не в радость. Одной ногой к тому же в гробу стоит: не для себя бы уж жить — для своих; а своих-то и нет... Бедный богач! несчастный счастливец!

В таких разговорах наши путники незаметно добрались до цели своего путешествия. Уже смеркалось, но из-за пышной зелени раскидистых дубов, лип и грабов, окружавших кибинцские «чертоги» (двухэтажное и деревянное, но очень видное здание), приветливо мелькали им многочисленные огни, заманчиво доносились стройные звуки домашнего оркестра.

— Вечная сутолока, вечный праздник! — заметил Василий Афанасьевич. — Гостей и теперь уже, поди, не обобраться.

И точно: когда коляска их вкатилась в обширный двор усадьбы, отовсюду обставленный флигелями и службами, под большим навесом в глубине двора можно было заметить несколько пыльных дорожных экипажей — карет-рыдванов, дормезов.

— Куда, куда! — крикнул Василий Афанасьевич кучеру, повернувшему было к главному подъезду. — Вот туда, к моему флигельку!

«Своим» он называл флигелек, в котором для него с семейством раз навсегда были отведены три горницы.

— А мне, Василий Афанасьевич, как же быть-то? — спросила Александра Федоровна вдруг упавшим голосом. — Меня здесь ведь не ждут... Я готова, право, вернуться домой...

— О! на этот счет не тревожьтесь. Я сейчас познакомлю вас с молодой супругой Андрея Андреевича, Ольгой Дмитриевной: она здесь временно на правах хозяйки — и особа премилая, ничуть не гордая.

Буку-сына он не счел нужным брать теперь с собой к хозяевам, и тот от нечего делать, в ожидании, что ему принесут стакан чая, взял с полки какую-то книжку. Но не прочел он и десяти страниц, как услышал торопливые шаги возвращающегося отца.

— Ну, сынку, идем-ка, — объявил Василий Афанасьевич. — Обжора этот, Павел Степанович, прислал записку, что объелся огурцов с медом...

— И вы отдаете мне его роль? — подхватил Никоша, вскакивая с места.

— Ни! К завтрашнему дню он надеется починиться. Нынче же на генеральной репетиции ты его заменишь. На безрыбье и рак рыба.

— О! я ему завтра поднесу нарочно еще два десятка огурцов.

— Добродетельный мальчик, нечего сказать!

Для домашнего театра в Кибинцах было отведено особое здание. Декорации для «Простака», однажды уже игранного в Кибинцах, были в исправности; только освещение сцены ограничивалось покуда тремя-четырьмя сальными огарками.

Александра Федоровна с первого же выхода в роли разбитной бабенки *Параски*набралась опять смелости и выказала себя бойкой актрисой. А про Василия Афанасьевича, игравшего ее мужа, казака *Романа*, и говорить нечего: каждое слово, каждый жест этого увальня-простофили были бесподобны, прямо взяты с натуры. Когда Параска упрекает ленивца, что он ничего не работает, тогда как кум Вакула «николи не сидить без дила; и сегодни раненько потяг у поле», — Роман, сладко зевая и почесывая спину, переспрашивает с образцовой флегмой:

— Чого в поле?

— По зайци, — отвечает Параска.

— Як по зайци? У него нема ни хортив, ни тенит, ни ручницы.

— Отто-то й диво! — презрительно усмехается хитрая баба. — Вин поросятам ловить зайци.

Пример соседа подбивает простака. Но как приняться за дело? Жена его надоумливает взять в мешок поросенка, да как завидит зайца, так и выпустить на него поросенка. Наставляя так, она уже одевает мужа, подпоясывает, сует ему в руки ломоть хлеба. Роман прячет хлеб за пазуху и с глупым самодовольством оглядывает свою «чепурную» фигуру:

— От теперь зовсим козак! Тилько закурить люльку, да хочь и у Крим.

Не торопясь, он накладывает табаком «люльку», запаливает ее и, заломив набекрень баранью шапку, отправляется на охоту за зайцем. Жена же, едва простак за дверь, звонко затягивает:

«Вяне вишня, посихае,

Що расте пид дубом:

Сохну, чахну так несчастна,

Живучи з нелюбом.

Прийди, милый, утри слези,

Що я проливаю,

Бо одрати ниякои

Бильш в свити не маю».

Прислонясь к задней кулисе, Никоша жадно следил за действием и забыл даже, что самому ему предстоит сейчас выйти на сцену; когда же теперь Параска пропела свою песенку с таким неподдельным чувством, он невольно забил в ладони:

— Браво! браво!

— Во-первых, не «bravo», а «brava», потому что поет не мужчина, а дама, — заметил ему искавший уже его режиссер-отец. — А во-вторых, твой же выход. Зевать, братец, не полагается.

Зрителей не было; сцена была только слабо освещена, и потому дебютант наш, очутившись на подмостках, тотчас вошел в роль: с характерным акцентом дьячка-семинариста он выражает «Параскеве Пантелимоновне» свою несказанную радость, что слышит «глас веселия» ее сердца. Параска же со смехом рассказывает Хоме Григоровичу, как спровадила мужа ловить зайцев поросенком, и ставит на стол перед дорогим гостем «запиканку». Но едва лишь тот налил себе чарочку, как за окном хаты раздается громкий собачий лай. Дьячек выглядывает в окошко: «Ай, батюшки! соцкий с солдатом!» — и, как угорелый, мечется по хате. Параска, не растерявшись, прячет труса под «привалок» и прикрывает «рядном».

Такой маленький роздых был начинающему актеру очень кстати, чтобы немножко хоть дух перевести.

«Уф! даже пот прошиб. А сыграл-то, кажись, изрядно? Реплику бы только опять не пропустить».

Между тем соцкий угощается стоящей на столе «горилкой», угощает и солдата. Тот с дороги чего бы и закусил, да у хозяйки, вишь, про непрошенных гостей ничего не изготовлено.

— Ну, нечего делать, — говорит служивый, укладываясь спать на лавку. — Солдатское брюхо привыкло постничать.

И он пускает тяжелый храп.

— Уже москаль и захрип! — замечает соцкий. — Знемигся, сердяга, вид походу.

Молвил и вышел. Ну, Хома Григорьевич, опять на сцену!

Выбрался дьячок наш из-под рядна и со страхом озирается. Но соцкого нет, солдат на лавке храпит, не шелохнется; опасность миновала. Со вздохом облегчения Хома-Никоша усаживается снова за стол, а добрая хозяюшка достает для него из запечка варену [28], хлеба да жареного цыпленка. Знай, угощайся!

Но не тут-то было. Наклонясь к окошку, Параска видит мужа, возвращающегося с охоты. Вот не было печали!

Дьяк поспешно лезет опять под привалок; Параска того спешнее прячет все угощение в запечек, приносит и кладет на стол заранее припасенного, убитого зайца, а сама, как ни в чем не бывало, садится за пряжу. Входит в хату Роман и накидывается на свою бабу с бранью, что одурачила-де его с зайцем; но приподнятый кулак его застывает в воздухе: на столе лежит мертвый заяц. Откуда он взялся? Жена с самым невинным видом объясняет, что так и так, мол, сейчас поросенок принес. Вот так штука!

Тут солдат, притворившийся спящим, будто просыпается и на жалобу хозяина, что ему есть нечего, предлагает угостить его и хозяйку на славу.

— Я буду ворожить, — говорит он, — так вам надобно встать вот здесь и зажмурить глаза.

Поставив обоих посреди хаты, колдун обводит вокруг них по полу кабалистическую черту и бормочет:

— Бер... бар... дар!

Роман выражает опасение, что он ненароком, пожалуй, «расплющит очи». Солдат грозит, что этак и сам он, Роман, пропадет, и ему, солдату, беды наделает.

— Уже буду держать рукой, — говорит Роман.

— Ну, держи покрепче.

Из запечка появляются опять на столе варена, хлеб и цыпленок.

— Ну, Роман, теперь конец. Смотри сюда.

Роман смотрит и глазам не верит:

— Гля!

— Ну, хозяин, милости просим покушать.

Суеверный хозяин осеняется крестом, шепчет про себя молитву и дрожащей рукой наливает себе, по примеру колдуна, чарку, а затем принимается также за цыпленка.

Параска украдкой от мужа умоляет солдата выпустить ее гостя. Солдат, утолив голод, не прочь исполнить ее просьбу и, на вопрос Романа: «Не буде ли треба хату посвятити?» — успокаивает его:

— Не надо: я тебе сам всех чертей выгоню; только ни с места! Он ставит опять обоих супругов посреди хаты, завязывает им глаза и связывает руки.

— Ух, страшно! — бормочет простак.

— Ну, Роман, — внушает ему колдун: — тебе надобно выучить сии волшебные слова: «Джун... бер... дач... дур... ниер... гапта... де...»

Роман повторяет и перевирает. Но самое страшное для него еще впереди: колдун вытаскивает из-под прилавка раба божия, дьяка Хому, снимает с него верхнее платье и вымазывает ему всю рожу сажей; затем развязывает хозяину глаза, стучит по полу палкой и бормочет свой заговор. «Нечистый» хватает из угла метлу и верхом на ней вылетает вон из хаты.

Трус Роман, разумеется, трепещет опять от страха, а Параска читает ему мораль:

— Эй, Романе! ни линуйся. Линость до добра николи не приводит.

Комедии конец.

— А что ж, разыграли ведь хоть куда? — обратился Василий Афанасьевич к Александре Федоровне. — Вы, моя паняночка, просто прелесть, великолепны! Да и хлопчик мой хоть и переиграл маленько, а для дублера вовсе не так плох. И как кстати ведь, штукарь, метлу эту подхватил, которой в тексте у меня даже не показано! Поди-ка сюда, штукарь: надо расцеловать тебя.

Но когда «штукарь» с зачерненным еще лицом подошел к отцу, тот замахал руками и попятился назад при общем смехе окружающих:

— Цур мене, цур, нечистый! Сгинь и умойся!

Глава тринадцатая

Читатели знакомятся с самим «кибинцским царьком»

Утомленный тридцативерстным переездом из Васильевки в Кибинцы, а еще более своим дебютом на генеральной репетиции «Простака», молодой Гоголь охотно проспал бы долее обыкновенного. Но уже в восьмом часу утра он был внезапно разбужен неистовым собачьим лаем и отчаянными человеческими воплями. Он вскочил с постели и подбежал к окну, выходившему на обширный двор усадьбы.

Вопил так, оказалось, какой-то странный субъект, наряженный святочным журавлем, то есть в вывороченный наизнанку бараний тулуп, с продетой в рукав его палкой, на которой намотан был платок наподобие птичьей головы с деревянным клювом. Штук пять или шесть

здоровенных псов с яростью трепали его за полы тулупа, а он орал благим матом, прыгал и корчился, как сумасшедший. Даровое зрелище привлекло уже, разумеется, толпу зевак из конюшни и кухни, которые, вместо того, чтобы выручить беднягу, со смехом только науськивали еще на него рассвирепевших собак.

— Озорники! рвань поросячья! Разгоните бестий! — пронесся тут по двору повелительный старческий голос, и Никоша увидел в окне хозяйского кабинета стариковскую голову в ночном колпаке и турецком шелковом шлафоре.

«Неужели это сам Дмитрий Прокофьевич? Никак бы в этом обличьи не узнал!»

Но сам Дмитрий Прокофьевич, видно, спохватился, что ночной костюм его предназначен не для всех, и захлопнул уже окошко. Приказ его между тем был немедленно исполнен: добрый ушат воды да несколько палок и поленьев разом угомонили разъяренных псов, и жертва их могла снять с себя журавлиный образ и принять человеческий. Из овчины вылупился средних лет длинноволосый мужчина в долгополой рясе.

«Отец Варфоломей! Так ведь и думал», — сказал про себя Никоша, узнавший в злосчастном одного из кибинцских шутов, отставного дьячка.

А тут, откуда ни возьмись, выскочил и подбежал к последнему, в подлинном уже скоморошьем наряде, другой домашний шут Трощинского, Роман Иванович, и приветствовал его звонким петушиным криком.

— Отойди от греха! — огрызнулся на него отставной дьячок, запахиваясь рясой.

— «Отойди, не гляди!» — передразнил Роман Иванович. — «Много сукна с моей шкуры сошло!» сказал горюн-баран. «Не тужи, — сказал мужик, — скоро самого съедим».

— Полноте, Роман Иванович! Бросьте несчастного! — услышал Никоша из комнаты рядом окрик своего отца.

Роман Иванович оглянулся, до ушей осклабился, прошелся по двору колесом до самых окон Василия Афанасьевича и униженно преклонился перед ним чуть не до земли с ужимками торгаша-еврея.

— Здрасштвуйте вам! ж добрым вутром васшему благоутробию.

— Здравствуйте, — отвечал Василий Афанасьевич. — А знаете ли, Роман Иванович, из вас вышел бы недурной клоун. И не диво, так как вы и без того балясничаете с утра до вечера.

— Нужда скачет, нужда пляшет, — отозвался своим обыкновенным уже голосом балясник, маленькие смышленые глазки которого, беспрерывно мигая, юрко, как мышки, бегали по сторонам, ни на секунду не останавливаясь ни на одном предмете и против его собственной воли обличая, что под этой шутовской личиной скрывается если не вполне нормальный ум, то достаточная доля лукавства. Фамилии этого субъекта Никоша никогда не слыхал, да вряд ли тот и сам ее еще помнил, так как никто не величал его иначе, как Романом Ивановичем; известно было только, что он из захудалых дворян и давным-давно обжился в Кибинцах в качестве приживальца, пока окончательно переселившийся туда из Петербурга Дмитрий Прокофьевич не возвел его в свои придворные шуты. Перед одним лишь Василием Афанасьевичем Гоголем, обходившимся с ним, по благодушию своему, как равный с равным, этот рыцарь юродивого образа с глазу на глаз приподнимал иногда свое шутовское забрало.

— Скажите-ка по совести, любезнейший, — спросил Василий Афанасьевич, — эта травля на бедного Варфоломейку — не ваших рук дело?

— Не наших рук, но нашего ума! — с важностью ответствовал шут, тыкая пальцем себе в лоб. — Плод зрелых размышлений.

— Но чем он опять проштрафился?

— Как чем-с? В сей высокоторжественный день, еще до святой обедни, дурачина на себя птичью аммуницию напялил!

— Да вы сами-то, поглядите, в какой аммуниции?

— В повседневной-с; и он оставайся до поры до времени в своем казенном балахоне. Смехотворствуй, господь с тобой: смех прет из тебя зачастую не от полноты сердца, а от пустоты желудка; ан нет ведь, семинарской мудростью своей, всякими рыбьими словами в нос тебе фыркает!.. А что, ваше благородие, — перешел Роман Иванович совершенно неожиданно из благородно-негодующего в просительный тон, — не найдется ль у вас в кармане завалящего рублика для бедной сиротинки?

— Это вы-то сиротинка?

— Мы-с: ни отца, ни матери, ни кума, ни кумушки; яко благ, яко наг, яко нет ничего. Не найдется ль хоть полтинничка?

— К величайшему *вашему*сожалению, и полтинничка не отыскивается, — отшутился Василий Афанасьевич. — Однако хорошего понемножку:

«Иди, сыну, иди, сыну,

Иди, сыну, причь вид мене!

Нехай тебе, нехай тебе,

Нехай тебе москаль визьме!»

Роман Иванович ни мало не обиделся отказом, а весело затянул тотчас ответный куплет:

«Мене, мати, мене, мати,

Мене, мати, москаль знае:

Жить до себе, жить до себе

Давно уже пидмовляе» [29]

После чего послушно отошел от окна. В дверь к Никоше просунулась голова отца.

— А! проснулся тоже; но еще в сыром виде. Одевайся, душенька, одевайся живее; сейчас, того гляди, гратулянты нагрянут.

В самом деле, недолго погодя, начался почти несмолкавший затем в течение двух часов грохот колес и топот лошадиных копыт от съезжающихся новых «гратулянтов». Последним пожаловал, как подобало, самый почетный из гостей, князь Николай Григорьевич Репнин, сановитый свитский генерал, которого два ливрейных лакея высадили под руки из громоздкой, но роскошной, с княжеским гербом, колымаги. Теперь и нашему нежинскому дичку волей-неволей пришлось примкнуть к поздравителям: блестящему воинству и расфранченным «штафиркам», которые частью еще толпились, прихорашиваясь, в просторном вестибюле, частью же топтались на гладком паркете приемного зала под огромными хрустальными люстрами, с деланной радостью здороваясь друг с другом и с непритворным пренебрежением озираясь на проталкивавшегося между ними подростка-гимназиста: «Ты что за гусь и откуда взялся?»

Тут, к немалому своему удовольствию, Никоша углядел друга своего, Данилевского, прибывшего вместе с отчимом, и первым делом, конечно, нашел нужным поделиться с ним своей новостью: что, очень может быть, он, Никоша, будет также участвовать в парадном спектакле.

— Ничего, брат, не слышу, — сказал Данилевский, и действительно, от отрывочных восклицаний, шарканья ног и бряцанья шпор и сабель в воздухе кругом стоял такой гул и гомон, что собственного слова нельзя было разобрать. — Пройдем-ка дальше.

Рука об руку проскользнули они в соседнюю горницу-гостиную, но попали, что называется, из огня да в полымя: на золоченой, обитой голубым бархатом мебели в стиле Людовика XVI пестрел здесь самый пышный «дамский цветник», или, вернее сказать, «птичник», от ярких красок которого и сверкавших всеми цветами радуги драгоценных каменьев просто в глазах рябило, а от звонкого щебетанья в ушах звенело. Гоголь поспешил оттащить приятеля обратно в приемную:

— Назад!

Лавируя между взрослыми, мальчики кое-как пробрались до одного угла комнаты, где около колонны с большим бронзовым бюстом императрицы Екатерины II оказалось для них еще свободное место. Тут из смежной гостиной донесся слегка дребезжащий мужской голос, в ответ на который, под шелест шелковых платьев, зазвенел целый хор приветливых женских голосов.

— Дмитрий Прокофьевич! — пронеслось по всей приемной, и поздравители, как по волшебному мановению, разом отхлынули с середины комнаты на две стороны, чтобы оставить широкий проход для хозяина, показавшегося теперь на пороге под руку с именинницей-племянницей.

Семьдесят лет жизни с неизбежными в старости телесными недугами и долголетние государственные труды и заботы не могли, разумеется, не наложить и на Трощинского своего неумолимого отпечатка. Но свежевыбритый, завитый в мелкие кудряшки и затянутый в расшитый золотом мундир, в звездах и александровской ленте, он выступал сегодня так бодро, с такой победоносной улыбкой, точно вел невесту под венец. И Ольга Дмитриевна, видимо, умела ценить выпавшую ей честь: стройная и воздушная, с распущенными по плечам великолепными, каштанового цвета локонами, сияя молодостью и красотой, она осыпала всех и каждого из своих больших карих глаз такими счастливыми, ласковыми взглядами, точно она не супруга почтенного генерала, а институтка, которую сейчас вот наградили шифром.

Вельможный дядя ее был менее расточителен: только избранных он удостаивал пары милостивых слов, другим же мимоходом едва головой кивал, а иных и вовсе не замечал. К числу последних принадлежали и наши два гимназиста.

По окончании церемониального обхода все двинулись чинно, следом за хозяином, в домовую церковь. Служба церковная совершалась с

возможной торжественностью; домашние певчие на клиросе из сил надрывались, чтобы угодить своему сановному патрону. Но Гоголю было не до певчих: заметив промелькнувшую в боковом приделе фигуру местного дьячка, он шмыгнул за ним, чтобы заручиться у него на всякий случай платьем для роли Хомы Григоровича; а затем, возвратясь на свое место, стал истово молиться с коленопреклонением и земными поклонами.

— Я знаю, о чем ты сейчас молился, — тихонько шепнул ему Данилевский, когда он наконец приподнялся с пола.

— О чем?

— О том, чтобы Павла Степановича что-нибудь задержало до конца спектакля.

— Ну, да!

— А что же ты покраснел-то? Но если его до сих пор нет, то, конечно, уже не будет.

Наступило время обеда, а о неисправном актере все еще не было ни слуха ни духа. Молодой заместитель его совсем уже приободрился и, сидя со своим приятелем на одном конце накрытого *покоем*(литерой П), необозримого обеденного стола, с тайной гордостью озирался по сторонам: «погодите вы, болтайте, шумите; вот ужо все разом замолчите, уши развесите, хлопать мне станете. Да помню ли я еще свою роль?»

И, сквозь неумолчный говор сотни обедающих, сквозь стук ножей и вилок, звон бокалов и стройные звуки домашнего оркестра на хорах, в голове его проносились фраза за фразой из «Простака».

— Нельзя ли потише, господа! Дайте послушать его высокопревосходительство! — заметил кто-то из гостей в одну из пауз оркестра, и гам кругом улегся, все взоры направились к центру стола, где между именинницей и самым именитым гостем, князем Репниным, восседал хозяин.

— Да-с, милостивые государи и милостивые государыни, — говорил Дмитрий Прокофьевич приподнятым тоном, сообразно высокому предмету его речи, — незабвенная Фелица наша особенно благоволила к «принцам мысли» (ее собственное выражение), к каковым несомненно принадлежал и француз Дидро. «Я сама страдаю легисманией (манией законодательства), — писала она ему, — но имейте в виду, что вы, господа, работаете на бумаге, которая все терпит; вашей фантазии, вашему перу нет препон; бедная же императрица трудится над человеческой шкурой, которая зело чувствительна и щекотлива».

— Как верно сказано, как остроумно! — послышались кругом голоса.

— А кстати, дяденька, — обратилась к Трощинскому Ольга Дмитриевна, — случалось ли вам тоже обедать за интимным столом покойной государыни?

— О! и не однажды. За полчаса до выхода ее величества все удостоенные такой чести имели быть уже, по регламенту, в сборе в бриллиантовой комнате, разумеется, в подобающем гардеробе. Вдруг двери настежь, камердинер Зотов дает ордер с порога: «Крышки!» Крышки с блюд мигом долой, и входит сама государыня, в сопутствии либо калмычки, либо своих двух английских собачек.

— А приборы у всех были, верно, золотые?

— Нет, у одной лишь императрицы; у прочих-серебряные. Зато относительно кушаньев она отнюдь не была требовательна. Так одним из любимых блюд ее были русские щи; и что же? Поставят, бывало, перед ней горшок щей в белой салфетке под золотой крышкой, и она, как сейчас вижу, полной ручкой своей с короткими пальцами берет этак золотую разливательную ложку и сама разливает — суверенша стольких миллионов, коих вся судьба и счастье от нее зависит! И ласковым словом своим, ангельской улыбкой, простые щи, фабуле подобно, обращает для каждого в амброзию. Упражняясь в делах государственных, она так же просто, без всякой помпы оделяла достойных подвижников на поприще государственности несчетными милостями…

— К каковым подвижникам принадлежали и вы? — подхватил князь Репнин. — Ведь, занимая уже высокий пост, вы, Дмитрий Прокофьевич, были, кажись, еще совсем небогатым человеком?

— С подлинным верно. О трудах моих на пользу отечества судить не смею. Могу лишь засвидетельствовать, что нежданно-негаданно сразу был свыше золотым дождем осыпан.

— Как же это случилось? при какой оказии? Расскажите, пожалуйста.

— А вот при какой. Сижу я однажды в кабинете ее величества и компоную некий меморандум по преподанным мне ей конъюктурам. Сама государыня сидит вот этак тут же, напротив меня, со своей записной книжечкой, но безмолвствует, дабы не прерывать нити моих соображений. Внезапно, среди гробовой тишины, слышу ее глубокий, мягкий голос:

«— Слушай, Трощинский: до сих пор ведь не ведаю, есть ли у тебя какой достаток?

— Достаток, ваше величество? Есть, — говорю, — в Малороссии родовое именьице, да, все одно, как бы его и не было.

— Что же, мало от него дохода?

— Никакого, государыня; для меня, по крайней мере. Я все отдал родным.

— Родным! Так чем же ты сам-то живешь?

— Щедротами вашего величества.

Смолкла, наклонилась над записной книжечкой; взялся и я опять за перо. Вдруг слышу: звонит она в колокольчик.

— Подать мне карту западных губерний! Подали. Разложила она ее передо мной на столе.

— Выбирай.

Я так и вострепетал и вспрянул со стула.

— То есть как так выбирать, ваше величество?

— А так, в ознаменование моего особого к тебе расположения, выбирай, что больше приглянется.

Вот она, фортуна-то, хватай за чуб! Окинул я взором карту, но совесть зазрила, и ткнул я перстом на Кагорлык, маленькое местечко в Киевской губернии, ранее мне приглянувшееся.

— Вот-с, — говорю, — Кагорлык, коли будет на то вашего величества диспозиция.

— Садись и пиши; а я тебе продиктую.

Сел я и стал писать. И что же вы полагаете, милостивые государи и милостивые государыни мои? Пожаловала она мне с Кагорлыком и все Кагорлыкское староство да еще два других впридачу: Вербовецкое и Хрептьеское, Подольской губернии. [30]Могу ли описать вам прилив чувств, с коими я преклонил тут колена перед великодушнейшей из монархинь?»

Растроганный воспоминанием о рассказанном им сейчас достопамятном случае, старый вельможа отер себе рукой глаза. На мгновение за столом воцарилось почтительное молчание; вслед затем все кругом заговорило еще оживленнее прежнего.

— Но по кончине Великой Екатерины, вы, кажется, точно также не были забываемы царскими милостями? — заметил Репнин.

— Даже безмерно, не по заслугам, не по заслугам-с, — с горделивой скромностью отозвался маститый сановник. — Блаженной памяти император Павел Петрович соизволил отписать мне в Воронежской

губернии не много, не мало — тридцать тысяч десятин и при оных две тысячи душ одного мужского пола. Трезоров неодушевленных и одушевленных на бренный век наш хватит! — заключил старик с самодовольной улыбкой; но тотчас, приняв опять серьезный вид, прибавил как бы с некоторой горечью: — Сии последние знаки высочайшей признательности дороги мне, конечно, не столько по их вещественной ценности, сколько ради личного еще в ту пору ко мне монаршего благоволения и ласки.

— Простите, Дмитрий Прокофьевич, — возразил Репнин, — но ведь и ныне благополучно царствующий государь император наш Александр Павлович жалует вас: вы уже отдыхали здесь, в Кибинцах, от государственных трудов, когда его величество призвал вас обратно в Петербург на ответственный пост министра юстиции.

— Призвал, точно; но ненадолго, ненадолго...

Из груди старика вырвался тяжелый вздох.

— Потому что здоровье ваше было уже сильно потрясено, — старался поддержать его Репнин, — оба лейб-медика — Крейтер и Роджерсон — требовали ведь совершенного удаления вашего от дел.

— Оба лейб-медика? М-да. А кто стоял позади них? Возвышенный прежде всех «мужичок везде и нигде», коему был неудобен министр, один из всех не ездивший к нему с реверансами. Его величество однако, грех сказать, до последнего дня не лишал меня своего благоприятства и уволил верноподданного раба своего в чистую при самом милостивом рескрипте... Господа! — возгласил Трощинский, вставая с приподнятым в руке бокалом, — да здравствует всемилостивейший государь император наш и весь августейший дом его — ура!

Единодушное «ура!» прокатилось с обоих концов стола, бокалы зазвенели, оркестр на хорах грянул громкий туш.

— Кого это он разумел под «мужичком везде и нигде»? — тихонько спросил Гоголя Данилевский.

— А, понятно, Аракчеева; неужели ты не догадался? — отвечал Гоголь, не раз уже слышавший от Дмитрия Прокофьевича эту оригинальную кличку, данную им своему могущественному и ненавистному недругу.

Глава четырнадцатая

За бортом

Благодаря массе разнообразных блюд и тостов, обед длился добрых два часа, и Гоголь сидел как на иголках. Наконец-то хозяин подал знак,

отодвинувшись со стулом, и все кругом приподнялось. Никоша был уже около отца.

— А что, папенька, не пора ли нам гримироваться?

— Эк загорелось! — отозвался тот и потрепал нетерпеливца по голове. — Старику-амфитриону нашему надо еще вздремнуть часок, да и из гостей многие не прочь сделать то же после столь обильных явств и питий. А вот роль свою тебе, точно, не мешало бы еще подзубрить. Ох, уж этот мне Павел Степанович!

— На мой-то счет не беспокойтесь, папенька: знаю назубок.

Но сам он был далеко неспокоен. Пройдя во флигель, он захватил с собой из комнаты отца все принадлежности для грима; скинул для удобства казенный мундир и перед стенным зеркалом опытной рукой разрисовал себе сперва легкими морщинками лоб и углы рта, подвел затем брови, а в заключение приклеил усы и козлиную бородку.

— Параскеве Пантелимоновне нижайший добридень! — произнес он вслух голосом дьячка Хомы Григоровича и с умильной улыбкой отвесил поклон своему двойнику в зеркале. — Как есть Хома Григорович! Ни за что не узнают. Чудесная, право, штука — этакий грим, за которым ты как за непроницаемым щитом. А сердце в груди все-таки ёкает, колотится... Прорепетировать разве еще на всякий случай в действии?

Кто со стороны наблюдал бы теперь за ним, как он громко говорил сам с собой, как с уморительными ужимками, глупо хихикая, раскланивался перед кем-то, как, потирая руки, садился за стол, а потом в смертельном страхе вскакивал снова, чтобы залезть под диван, — тот легко мог бы принять его за помешанного.

Но тут, под диваном, репетиция внезапно прервалась. Из отцовской комнаты рядом донесся посторонний голос, от которого у мальчика дыхание сперло.

«Неужели все-таки Павел Степанович! Господи, помилуй! Да, он! он!»

— Да я еще с утра, слышите: с петухами был бы здесь, кабы не проклятая рессора! — горячо оправдывался вновь прибывший. — Дернула меня нелегкая завернуть в сторону...

«Ой, не ходи, Грицю, на вечорници», — пропел в ответ Василий Афанасьевич. — Упустя лето по малину не ходят. Упустили ведь даже генеральную репетицию...

— Да что я вам, сударь, наконец, пешка, что ли? — пуще расходился Павел Степанович. — Доколе нужен, так «сделайте божескую милость», а не нужен, так «убирайся к черту»? Я заставлю уважать себя...

— Ну, полноте, почтеннейший! О каком-либо неуважении к вам не может быть и речи. Сказать же по душе, порубок-то мой уж так-то зрадовался комедианствовать с нами! Будьте великодушны, пане добродию...

— Оце ще! Уступить свое место безбородому школьнику перед всей знатью Украины, можно сказать, это было бы не великодушием, а малодушием.

«Ни великодушия, ни малодушия вашего мне не нужно»! — хотелось крикнуть школьнику из-под дивана.

Но для этого сперва надо было выкарабкаться оттуда. Он стал выбираться; но что-то сзади его держит и не пускает. Он ощупал за спиной рукой. Ну, так! Жилетная пряжка, злодейка, зацепилась за паклю продавленного дивана — ни тпру, ни ну!

В это время Василий Афанасьевич заглянул в комнату сына:

— Ну, Никоша, плохо наше дело... Да где-ж это он? — пробормотал он про себя.

— А не его-ль вон ноги торчат? — заметил вошедший вслед за ним в комнату Павел Степанович. — Знать, роль свою под привалком повторяет? Вылезайте-ка, молодой чоловик, вылезайте, надо нам поторговаться с вами.

— Не могу... — глухо послышалось из-под дивана.

— Торговаться не можете? Эге! Аль завязли? Гай-гай! Ну, батенька Василий Афанасьевич, вы берите сыночка за одну ножку, я — за другую: авось, общими силами вытащим оттоле.

Им это, действительно, удалось, но с пожертвованием пряжки, которая так и застряла в диванной пакле.

— Ну, что, батенька, кабы сия самая оказия с вами на сцене приключилась? — говорил Павел Степанович. — Ведь это явно сам рок вас предупреждает не лезть в воду, не спросясь броду.

— Да я и не желаю уже лезть куда бы то ни было...

— Даже под привалок? Хе-хе! Вот и сговорились без всякого торга. А мне, признаться сказать, быто-таки маленько жаль оставить вас этак за бортом, не солоно хлебавши; ведь вы, я вижу, и физиономию-то себе уже раскрасили и бородой разукрасили; поверьте, так жаль...

«Провались ты с твоей жалостью!»

Впрочем, это не было произнесено вслух, а только подумало, с тайным, быть может, желанием, чтобы это случилось еще за час назад.

Сорвав усы и бородку, Гоголь тщательно смыл с лица искусственные морщины, а затем тихомолком проскользнул в парк. Всего охотнее он сейчас бы уселся в отцовскую коляску и умылся без оглядки в родную Васильевку. Но так как сделать этого было нельзя, то он пошел бродить по парку.

Обширный кибинцский парк был совершенно безлюден: ввиду предстоящего спектакля гостям было не до гулянья; а постоянным обитателям Кибинец — и того менее. Единственными живыми существами, попавшимися мальчику на его одинокой прогулке, были два великолепных белоснежных лебедя на большом зеркальном пруде. По ту сторону пруда виднелись приготовления к иллюминации и фейерверку: саженный деревянный вензель, усаженный разноцветными плошками, по бокам его — два деревянных же колеса на высоких подставках, а направо и налево от дерева к дереву гирлянды цветных фонарей.

Но все это его теперь ничуть не интересовало; а когда оба лебедя, обрадованные появлением одного хоть гуляющего, подплыли к берегу за обычной подачкой, Гоголь, точно стыдясь их, повернул и пошел обратно к дому.

Глаза его были тусклы, но сухи, лицо, пожалуй, несколько расстроено, но как-то чересчур неподвижно. Словно ничего не различая перед собой, он шел сперва по дорожке, а когда та круто взяла в сторону от театра, выдвинувшегося задним фасадом в парк, он, не изменяя направления, пошел вперед по траве, пока не наткнулся на деревянную стену театра. Здесь силы как будто разом его оставили, и он повалился ничком в густую, мягкую траву. Но как и прежде, он не плакал; с добрых полчаса лежал он пластом, как труп, не шевелясь, не дыша, и пролежал бы так, вероятно, еще долго, если бы сквозь дощатую стену из театральной залы явственно не донеслось к нему рукоплескания и вызовы:

— Режиссера! Параску! Всех, всех!

Он приподнял из травы голову.

«Всех? Стало быть, и Хому Григоровича? А-ах! Ну, и пускай, пускай! Дайте сроку, будет и на нашей улице праздник...»

Он присел; но голова у него шла крутом, в глазах рябило, и он снова опустился на траву.

— Э-э! так вот ты где? Ужели все время так-таки и пролежал здесь? — раздался над ним знакомый молодой голос.

Гоголь повернул голову: над ним стоял Данилевский.

— Так-таки и пролежал, — отвечал он, сладко потягиваясь и зевая, — и выспался, я тебе скажу, как сорок тысяч братьев! Чего я там не видел?

— Как чего? Играли превосходно, особенно твой папенька и Александра Федоровна; ему от Дмитрия Прокофьевича поднесли лавровый венок, а ей — великолепный букет и в букете браслет. Но финал еще впереди.

— Какой финал?

— Да я и сам еще не знаю. Когда вызовы кончились, Трощинский пригласил гостей за собой на двор к «доморощенному финалу». На дворе же я заметил мимоходом какой-то чан с водой и толпу народа. Идем-ка!

— Не охота мне, право…

— Ну, полно жеманиться, душа моя, давай сюда руку.

И, за руку приподняв приятеля из травы, Данилевский повлек его из парка к калитке, выходившей на передний двор усадьбы.

Глава пятнадцатая

Доморощенный финал

На высоком крыльце восседал сам Дмитрий Прокофьевич посреди цветущей гирлянды разряженных зрительниц; позади них плотной стеной теснились зрители, военные и штатские; а под крыльцом, вокруг арены действия — огромного, шестидесятиведерного чана, до краев налитого водой — шумно толпились зеваки из меньшой братии: дворни и прислуги.

— Старики и бабы — назад, хлопцы — вперед и слушай! — раздался с вышины крыльца внушительный голос хозяина-царька. — В ознаменование нонешнего дня и ради вящего плезира любезных гостей моих имеет быть сейчас между вами, ребята, мирная баталия, состязательное ратоборство. Вот у меня, видите, кошелек с червонцами. Они — ваши, но должны быть заслужены, добыты из чана. Раз! два! три!

Три червонца, один за другим, сверкая в лучах вечернего солнца, полетели в середину чана и с плеском исчезли под взбрызнувшей водяной гладью.

— Только имейте в виду, ребята, — предупредил еще Дмитрий Прокофьевич, — что все три червонца должны быть добыты зараз. Ну, что же, кто сделает почин?

Шушукаясь, подталкивая друг друга локтями, хлопцы в нерешительности толпились около чана.

— Почин дороже денег! Не я, так другой! — вызвался тут бойкий на вид, чубастый малый и, протиснувшись к чану, стал было скидывать с плеч свитку.

— Не, не, хлопче, этого не полагается! — остановил его с крыльца властный барский окрик. — Полезай во всей амуниции.

— Полезай во всей амуниции! — злорадно загалдело кругом стоголосое эхо.

— Ну, и полезем, — отвечал хлопец, навалился животом на край высокого чана и с мешковатой ловкостью деревенского гимнаста, упражнявшегося уже раньше на плетнях и заборах, шлепнулся в воду обеими ногами.

Каскад брызг, которыми он осыпал при этом окружающих, вызвал у одних брань, у других хохот. Вода подходила молодчику почти под мышки, так что достать со дна чана червонцы не представлялось ему иной возможности, как окунувшись туда с головой.

— Господи, благослови! — произнес он, крестясь, и скрылся уже под водой.

Полминуты спустя, чубастая голова его вынырнула опять на поверхность. Вода бежала с него ручьями, но в каждой руке он вертел с торжествующим видом по золотому.

— Овва!

— Да сколько их у тебя? — спросил его с крыльца барин. — Никак только пара?

— Пара...

— А третий-то где же?

— Шут его знает! Шарил я по дну, да так и не нашарил: воздуха в жабрах не хватило.

— Так и распрощайся со своими червонцами; бросай их назад. Ну!

Прекословить не приходилось. Сквозь зубы посулив кому-то дьявола, неудачник с понятным ожесточением бросил обратно в чан свою драгоценную добычу.

— Ты что там, болван, деда своего поминаешь? Вылезай вон, дай место другим!

Попытать свое счастье, действительно, двинулись к чану уже двое новых охотников и принялись пререкаться об очереди.

— Полно вам! Оба ужо поспеете выкупаться даром, — крикнул сверху барин. — Кто из вас двух по рангу-то старше? Ты ведь, Василь?

— Я, батюшка ваше высокопревосходительство, — отвечал Василь, первый форейтор и фаворит барский.

— Ну, значит, и полезай наперед.

По своей профессии наловчившись одним прыжком взлетать на хребет коня, Василь с неменьшей легкостью перекинулся через край чана. Умудренный однако опытом предшественника, он, прежде чем окунуться, втянул в себя изрядный запас воздуха. Благодаря такой мере, он имел возможность пробыть под водой вдвое долее, и когда показался опять оттуда, то хотя и не мог произнести ни слова, но на ладони своей предъявил публике три блестящих кружочка.

— Ай да хват! Червонцы — твои! — возгласил Дмитрий Прокофьевич и ударил одобрительно в ладоши.

Гости кругом подхватили, а народ внизу так и заржал, заликовал. Десятки рук протянулись к счастливцу, чтобы помочь ему выбраться на сушу.

Успех одного подзадорил десяток других. Когда из барского кошелька три новых червонца полетели в воду, между состязующимися дошло чуть не до драки. Чтобы восстановить определенную очередь, Трощинскому пришлось вовсе устранить от конкурса самых задорных.

В какой-нибудь час времени чуть не двадцать человек перебывало в чане, но после форейтора Василя только трое с той же удачей. Два шута хозяйские — Роман Иванович и отец Варфоломей — стояли до сих пор под самым крыльцом безучастными зрителями и по временам лишь обменивались обычными колкостями.

— А что бы и тебе искупаться в золотой купели, семинарская крыса? — пристал опять Роман Иванович к своему сопернику на шутовском поприще.

— Оголтелый! — коротко огрызнулся последний, с суровой гордостью древнего циника запахиваясь в свой ветхий и неопрятный хитон.

— Фай, какой важный рыцарь! Аль чистоты своей жаль? «Пойдем в церковь!» — «Грязно». — «Ну, так в шинок!» — «Разве уже под тыном пройти».

Отец Варфоломей, лучше всякого другого знавший свою слабость к крепким напиткам, отозвался с тем же лаконизмом:

— Пустобрех!

— А ты кладезь мудрости: борода с локоток, а ума с ноготок!

— Ну, будет вам, дуракам, чинами-то считаться, — вступился тут в их перебранку Дмитрий Прокофьевич. — И то, patre illustrissime [31], отчего бы и тебе трех золотых не заработать?

— Солнышку нашему сиятелю, свету нашему совету! — отвечал нараспев, с поясным поклоном отставной дьячок, у которого перед вельможным патроном вдруг развязался язык. — На что мне твое золото? Взирай на птицы небесные: не сеют, не жнут, а сыты бывают.

— Ай да птица! подлинно райская! — подхватил Роман Иванович. — А за райскую птицу, ваше высокопревосходительство, трех золотых, точно, маловато: у нее ведь очи-то завидущие, лапы загребущие, уста зелено вино пьющие.

— Что ж, на чарочку прибавлю парочку, — усмехнулся Трощинский и бросил в чан еще два червонца. — Ну, что же, patre? Долго ль нам еще ждать-то?

Несмотря на усмешку, слова его звучали так повелительно, что дальнейшее противоречие ни к чему бы не послужило.

— Бог вымочит, бог и высушит, — покорно промолвил шут, подбирая полы рясы. — Подсобите, благодетели.

«Благодетели» нашлись, и он очутился в чане.

— Ненавидящие и любящие, простите мя!

Пробыл он под водой сравнительно недолго; но вместо того, чтобы совсем приподняться, он сидя в воде по горло, подышал немного и потом окунулся вторично. Когда вслед затем кудластая голова его снова появилась из воды, в руке у него оказались все пять золотых.

— Ах, каналья прекомплектная! — воскликнул Трощинский. — Ты должен был добыть их за один прием.

— Он так жалок, mon oncle! [32]Сложите гнев на милость!

Непреклонный в иное время в своих решениях старец окинул племянницу ласковым взглядом.

— Имениннице нет отказа. Можешь прикарманить! — коротко отнесся он к шуту. — Ну-с, а теперь, государыни мои, не будет ли с вас сей материи? Не пора-ль вам приукраситься и к танцам? Лови, ребята!

И на головы стоявшего внизу народа посыпалось оставшееся в барском кошельке золото. В последовавшей за этим нешуточной свалке было

более помято ребер, чем подобрано червонцев. Но дикая забава была в духе времени и, судя по общему смеху, пришлась всем по душе. Впрочем, один не смеялся: Гоголь.

— Что это ты, Николаша, такой серьезный? — спросил его Данилевский.

— Да очень оконфужен.

— Чем?

— Что до сих пор не знал, какими способами древний Перикл насаждал просвещение в своих Афинах.

— Тише, брат! Неравно сам услышит.

— Или это Олимпийские игры?

— Тише! говорят тебе...

Глава шестнадцатая

Медведь танцует

Саркастическое настроение не покидало Гоголя и в остальной вечер: толпившиеся в дверях танцевального зала взрослые кавалеры с недоумением оглядывались на подростка-гимназиста, который, прислонясь тут же у стены, исподлобья задумчиво наблюдал за нарядными парами, кружившимися по залу под гремевшую с хоров музыку, и временами неожиданно, как из пистолета, выпаливал какое-нибудь наивно-меткое замечание.

Впрочем, иногда он с более теплым участием следил глазами то за своим приятелем-гимназистом, который с увлечением носился по паркету со знакомыми и незнакомыми дамами, то за своей названной «сестрицей», которая хотя и не имела между танцорами почти ни одного знакомого, но, обратив на себя недавно общее внимание прекрасным исполнением роли Параски, не могла теперь пожаловаться на недостаток кавалеров. Самой ей хмель заслуженного успеха, как видно, ударил в голову: всегда дичившаяся большого общества, она теперь стала просто неузнаваема, — все разгоряченное лицо ее так и сияло почти детской радостью.

И вдруг к новому контродансу у нее не оказалось кавалера! Гоголь заметил издали, как она оживленно говорила с другой барышней, стоявшей уже об руку со своим кавалером, и растерянным взором обводила зал, как будто высматривая кого-то. Наш сатирик не мог подавить не то ироническую, не то сострадательную улыбку. Но тут же улыбка сбежала с его губ, и сатирик снова превратился в буку-школьника.

Дело в том, что на глаза Александры Федоровны попался он сам, и, видимо, обрадовавшись ему, как якорю спасения, она тотчас поспешила к «братцу».

— Пожалуйте, братец, пожалуйте! Вас-то мне и нужно. Кавалер мой куда-то исчез, и визави наш в отчаяньи.

Она хотела взять его за руку, но он спрятал обе руки за спину.

— Сестро моя милая, сестро моя любая! Я же, вы знаете, не танцую.

— Пустяки, пустяки! Давно ли вы писали из Нежина своей маменьке (она показывала мне ваше письмо), что скоро выучитесь отлично танцевать, если вам вышлют на то денег — не помню уж, сколько: двадцать или тридцать рублей?

— Мало ли что пишется!

— Когда нужны деньги для бонбошек? Какие, скажите, ваши любимые? Помадные ведь?

— Помадные-с.

— Так вот, когда будут подавать конфекты, я нарочно припасу для вас помадных.

— Да я, право же, хоть и взял несколько уроков, но танцую не лучше медведя...

— А как же медведю и танцевать, как не по-медвежьи? Вот подают уже сигнал к танцам. Давайте-ка руку!

— «И дощик иде, и метелице гуде,

Дивчина казака через юлицю веде», —

мурлыкал себе под нос Гоголь, увлекаемый «дивчиной» в ряд танцующих.

Задача, предстоявшая ему, была не из легких: в те времена французская кадриль не ограничивалась простым хождением и шарканьем ног, а каждый участвующий, как женского, так и мужского пола, старательно выводил отдельные па. Пришлось выводить их и Гоголю. Фигур он особенно не путал, потому что помнил их еще с Нежина, но в каждой фигуре аккуратно хоть раз наступал на ногу своей даме.

— Ах, простите, сестрица! — извинился он, когда она даже вскрикнула от боли.

— Ничего, медведю так и следует, — отшутилась милая барышня. — Но у меня к вам, братец, одна просьба: наступайте теперь на правую ногу, левой пора отдохнуть.

— С удовольствием. А бонбошки мне за это будут?

— Сказано: будут.

Действительно, когда перед последней фигурой — галопом — ливрейный лакей в белых нитяных перчатках стал обносить танцующим поднос с конфетами, Александра Федоровна отобрала у него целую горсть «помадных» и вручила их своему кавалеру, но на свою же погибель Гоголь обронил одну из конфеток; и вот, когда они пустились в галоп, наш медведь тяпнул на конфетку, поскользнулся и, в падении своем желая удержаться, увлек на пол и свою даму.

Тут последнее мужество покинуло мальчика и, вскочив как встрепанный, он обратился в постыдное бегство.

После такой оказии ему, понятно, нельзя уже было носа показать в танцевальный зал, и он, как потерянный, слонялся по другим кибинцским палатам: постоял некоторое время в биллиардной около самого биллиарда, пока один из двух игроков, с азартом всаживавший в лузы шар за шаром, с размаху не хватил его кием в грудь, вдобавок еще бросив по адресу «непрошенных ротозеев» «ласковое» слово; затем в хозяйском кабинете поглазел в карты отца, игравшего в бостон, пока тот точно также не предложил ему отойти, потому де, что он, Никоша, кажется приносит ему несчастье.

— Тебе бы, дружок, пойти в библиотеку, — посоветовал Василий Иванович, кивая ему на прощанье с доброй улыбкой.

Лучшего, в самом деле, нельзя было ничего предпринять, и Гоголь удалился в библиотечную комнату. Людей там не было ни души, а чтения сколько угодно. Но пока ему было не до чтения: в зажатом кулаке у него горел еще липкий «помадный» комок. Присев к открытому окошку, он принялся отлеплять конфетку от конфетки и отправлять в рот.

Сладкая «помада» по мере ее уничтожения нейтрализовала накопившуюся в его груди горечь; а ночная прохлада, веявшая в окно из темного парка, там и сям только просвечивавшего цветными фонарями, освежала пылавшую голову. Когда же в заключенье были еще облизаны и обтерты платком ладонь и пальцы, душевное равновесие Гоголя вполне восстановилось.

Он встал и раскрыл один из многочисленных книжных шкапов, чтобы достать себе книгу. Но тут на нижней полке на глаза ему попалась

втиснутая между двумя фолиантами большая конфетка в нарядной золотой бумажке.

«Эге! воровская добыча. Надо наказать глупого воришку; а маменьке гостинец. Зараз два добрых дела».

«Гостинец» исчез в кармане. В это время из-за окон грянул оглушительный, как бы пушечный выстрел.

«Сигнальная ракета! Ну, что ж, отчего не посмотреть?»

В вестибюле он с трудом добрался до своей фуражки сквозь хлынувшую туда шумную толпу гостей. Молодые дамы и барышни наскоро накидывали мантильи на свои разгоряченные танцами плечи; мужчины хватали без разбора, что под руку попадется: кивера и простые картузы, цилиндры и офицерские фуражки. Болтая и толкаясь, все разом устремилось на террасу, а оттуда к большому пруду. Гоголь отдался общему течению и в две минуты очутился там же.

Картина действительно была роскошная, сказочная: весь берег кругом был унизан, как самоцветными каменьями, горящими лампионами всех цветов; на той стороне пруда сверкал и переливался тысячами огненных бриллиантов колоссальный вензель с инициалами именинницы и полностью отражался в неподвижном водяном зеркале. А вот к темному ночному небу с шипением и треском начали наперерыв взлетать огненные жаворонки, бураки, римские свечи, по бокам же вензеля бешено завертелись два потешных солнца, рассыпая кругом снопы разноцветного огня.

— Magnifigue! — слышались кругом звонкие восклицания дам.

— Терпения, mesdames: сейчас будет еще апофеоз, — предупредил кто-то из мужчин.

— Какой апофеоз?

— А балет наяд.

И точно: едва потухли оба солнца и грохнули наземь их деревянные подстилки, как три громовые ракеты возвестили нечто новое. Под нависшими вековыми грабами, кленами и ореховыми деревьями вспыхнули бенгальские огни, таинственно озаряя окружающую листву и пруд ярко-зеленым светом; и тотчас откуда ни возьмись с десяток воздушных фей в балетных одеяниях — и с берега в воду!

Но что за диво! Как сверхъестественные существа, они не тонут, а на водяном зеркале исполняют фантастический танец, под стать хоть столичным балеринам. Удивлению и восторгу зрительниц не было конца.

— «А ларчик просто открывался», — пояснил тот-же мужской голос, — под водой устроен дощатый пол.

Гоголь, также заглядевшийся на волшебное зрелище, по привычке, совершенно машинально полез рукой в карман за леденцом; а так как вместо такового там оказался только «гостинец маменьке», то он со вздохом вынул содержимое и положил себе в рот, а бумажку аккуратно сложил по-прежнему.

— А! и вы здесь, братец! — раздался тут около него голос Александры Федоровны. — Хорошо вы со мной поступили, нечего сказать! И что это вы опять сосете, лакомка?

— «Вороне где-то бог послал кусочек сыру», — отвечал Гоголь. — Не угодно ли и вам, сестрица.

— Конфетка? И прехорошенькая! — восхитилась барышня, принимая приношение. — Да ведь это пустышка? Все тот же школьник! В наказание вы нынче же должны протанцевать со мной экосез… Ах!

Взвившаяся над ними ракета рассыпалась мириадами пунцовых, синих, золотых звезд. Совершенно ослепленная, Александра Федоровна закрыла на секунду глаза. Когда же она их опять раскрыла, то школьника возле нее и след простыл.

После фейерверка танцы возобновились и продолжались вплоть до ужина, поданного в третьем часу ночи. Но тщетно Александра Федоровна искала глазами своего сбежавшего танцора, тщетно справлялась о нем за ужином и у его родителя. Последнему, впрочем, было не до сына: благодаря отменным и разнообразным винам за ужином, фантазия и красноречие Василия Афанасьевича, этого первого во всем околотке рассказчика, развернулись еще блестящее обыкновенного и собрали около него целый кружок слушателей. Когда же, по окончании всего празднества, он отправился наконец через двор в свой флигель, то нашел здесь сына заснувшим в сидячем положении на диване, а в руках у него — лавровый венок, поднесенный на спектакле самому отцу-режиссеру. Мальчик спал так крепко, что не сознавал, как отец осторожно приподнял его ноги, как уложил его горизонтально, под голову подсунул ему подушку, а на голову возложил ему свой собственный лавровый венок со словами:

— Дай тебе бог, сынку, дай тебе бог!

Глава семнадцатая

Горе надвигается

Ольгин день был кульминационным пунктом нынешних вакаций молодого Гоголя. Мирная сельская жизнь в Васильевке текла светлым

ручьем в цветущих берегах, однообразно и сонно журчащим по мелким каменьям. Взятые с собой из Нежина учебники преспокойно отдыхали на полке и постепенно покрывались густым слоем пыли. Позаимствованные из кибинцской библиотеки книги литературного содержания также читались не очень-то усердно. Зато тем охотнее работалось в саду вместе с папенькой, у которого имелся неистощимый запас воспоминаний о собственных своих бурсацких годах и стародавних сказаний о милой им обоим Украине.

В особенно же жаркие дни, когда сам Василий Афанасьевич спасался от палящего зноя за закрытыми ставнями дома, сынок его предпочитал отдыхать под открытым небом: неподвижно по целым часам лежа на спине под тенистым деревом или в высокой степной траве, он следил глазами за плывущими по небесной синеве ярко-молочными облаками, а сам мечтал — о чем? быть может, о своих будущих гражданских подвигах, пока чувство пустоты в желудке не напоминало ему о необходимости сделать вылазку в фруктовый сац. Последствием каждой такой вылазки было отсутствие аппетита за общей домашней трапезой, так что Марья Ивановна серьезно сокрушалась «здоров ли Никоша? Ничего-то бедненький не кушает?» Но о здоровье мальчика свидетельствовало его пополневшее, загорелое лицо, а еще более та игривость, с которой он при всяком случае подтрунивал над прислугой и над своими сестричками, нередко доводя последних до слез.

Так незаметно подошла и осень, и неизменная желтая коляска подкатила опять к крыльцу. Благословения, объятия, всхлипывания…

— Довольно, маменька! Уж сколько раз похристосывались. Не вечно же мне киселем объедаться.

— Каким киселем?

— А в вашем кисельном царстве. Кисель — это название собирательное для вареников, дынь и иных прелестей. А, кстати, маменька: вы хотели, кажется, дать мне с собой дынь?

— Под сиденьем, родимый, ты найдешь полную корзину ананасовых… Ох-ох-ох! самых спелых, душистых… Одну-то, не забудь, смотри, поднеси Орлаю…

— Обязательно; а другую — мадам Зельднер: ублажить за пирожки.

— За какие пирожки?

— А это у нас с ней счеты. Прощайте, папенька! Да что это вы? Полноте! Не навек, кажись, расстаемся.

— Как знать, дружок, как знать? — вздохнул Василий Афанасьевич, усиленно также сморкаясь. — Четвертый год вот перемогаюсь, и чует мое сердце, чует, что скоро придется всех вас покинуть, моих милых…

— Господь с тобой, Василий Афанасьевич! Я не переживу, не переживу! — переполошилась Марья Ивановна и, обняв мужа, от наплыва горьких чувств залилась на плече его слезами.

Это было как бы сигналом для четырех дочек, которые с громким ревом бросились к обоим родителям.

— Ну, тут еще потопа дождешься! — буркнул сын, у которого также заскребло в горле, и вскочил в коляску. — Трогай!

И вот он опять в Нежине, вдали от своего родного «кисельного царства». Те же классные занятия, те же задушевные беседы в свободные часы в лазарете с Высоцким, который с осени снова страдал глазами. Беседы эти теперь чаще всего вращались около Петербурга, куда стремился, по окончании курса, восьмиклассник Высоцкий, куда вместе с ним, разумеется, тянуло и шестиклассника Гоголя.

Но в лазарете у них, вдали от взыскательных взоров начальства, было так уютно, что понемногу пример их нашел подражателей, и лазарет как-то сам собой обратился для пансионеров в некоторого рода клуб.

Профессор Билевич, неодобрительнее остального начальства относившийся к этим неуказанным сборищам, счел нужным обратить на них внимание директора. Но Орлай, при всей своей любви к порядку, взглянул на дело гораздо благодушнее.

— Est modus in rebus, carissime [33], — сказал он. — Всякому человеку надо иной раз расстегнуться нараспашку, а молодежи, которая растет не по дням, а по часам, тем паче. По вашему ведь настоянию, Михайла Васильевич, у них отняли уже спектакли. Где же им, наконец, вздохнуть всей грудью, как не в своем тесном приятельском кружке?

— Но ветренность юности…

— Отнимите у юности ее ветренность — и вы отнимите у старости много дорогих воспоминаний.

Таким образом «клубные» собрания не были тронуты. Но для нашего нелюдима лазарет утратил уже прежнюю укромность, ему взгрустнулось опять по дороге к Васильевке.

На рождестве ему, точно, удалось побывать там; но зимой степной хуторок, занесенный со всех сторон снегами, был совсем не то, что летом: нельзя было из дома шага сделать. А к тому же и родители его оба недомогали; особенно осунулся в лице Василий Афанасьевич.

— Вот, видите ли, папенька, — старался ободрить его сын, — сердце-то ваше обманулось: мы все-таки свиделись.

Василий Афанасьевич печально улыбнулся.

— Свиделись, душенька. Господу угодно было явить мне еще сию последнюю льготу.

— Что вы, папенька! Вам всего ведь сорок четыре года…

— Сходят со сцены, сынку, и в первом явлении трагикомедии, именуемой земной жизнью; а сорок четыре явления — это, голубушка, далеко не всем смертным дается; это — некий бенефис.

Былой весельчак пытался по-старому шутить; но шутки у него не выходили, а занимательных рассказов о былом совсем не стало от него слышно. Упадок духа главы дома, естественно, отразился и на настроении всех домочадцев. Словно грозная туча нависла над родной Васильевкой, и Никоша был почти рад, когда можно было ему снова возвратиться к товарищам в Нежин.

Но и здесь ожидало его мало радостей; масленица и пасха без театра были ему уже не в праздник. Надо было отыграться на чем-нибудь другом.

В одну из классных перемен, расхаживавший по коридору между воспитанниками, надзиратель Зельднер услышал за своей спиной многоголосое, тихое пение на простонародный малороссийский мотив. Ухо его уловило только два слова песни: «журавлини ножки», но и по ним ему нетрудно было догадаться, что речь идет о его собственных «ходулях», и он быстро обернулся.

Пение тотчас прекратилось. Кругом стоял лишь рекреационный гул и гам. Егор Иванович возобновил свою прогулку. Тут впереди его другая уже партия школяров затянула ту же песенку, и он мог ясно разобрать конец ее:

«Той же чертик, що в болоти,

Тилько приставь рожки!»

— Halt! [34] — крикнул он. — Кто смела петь? Что пела?

Ответа по-прежнему не последовало: пары, как ни в чем не бывало, продолжали гулять мимо него, смеясь и гутаря между собой.

Погрозив пальцем, надзиратель зашагал обратно по коридору. Глупая песня тотчас повторилась за его спиной. Он — назад: там все стихло; зато с другого конца доносится игривый мотивец.

Зельднер остановился как вкопаный.

— Вам разве не нравится наша народная песня, Егор Иванович? — спросил его Гоголь, ходивший по коридору об руку с Данилевским.

Егор Иванович взглянул на вопрошающего, и внезапное откровение блеснуло молнией в его омраченном взоре.

— Народная песня? Это, значит, опять ваши штуки, Яновский!

— Помилуйте! Народная песня сама собой родится, и весь народ наш здесь ее, видите, уже распевает.

Надзиратель безнадежно махнул рукой и отошел от двух школьников. Песня сделалась у гимназистов, действительно, настолько популярной, что и на другой, и на третий день ее распевали в рекреации; но Егор Иванович, заложив руки за спину, вскинув кверху голову, словно ничего уже не слышал и равномерным шагом прохаживался по коридору взад и вперед.

— А ведь, что ни говори, — заметил Данилевский Гоголю, у него большая выдержка и долготерпение поистине немецкое.

— Пожалуйте вниз к директору, — пригласил тут Гоголя подошедший сторож.

— Вниз? на квартиру?

— Точно так.

— Вот тебе и долготерпение немецкое! — обратился Гоголь к Данилевскому.

— Нарыв лопнул, — сказал тот. — Но я все же еще не совсем уверен, что тебя требуют из-за Егора Ивановича.

— Никак нет-с, — вмешался сторож, — сейчас пришла почта, и господин директор как вскрыли одно письмо за черной печатью, так и послали меня за его благородием.

— За черной печатью?.. — пролепетал Гоголь, чувствуя, как вся кровь у него отлила к сердцу.

Данилевский также побледнел, но постарался ободрить приятеля:

— Не волнуйся, брат, попусту. Очень может быть, что письмо не имеет никакого отношения к тебе. Если хочешь, я пойду вместе с тобой…

— Нет, нет, оставайся. Тебя ведь не звали…

«Неужто из Васильевки?» — говорил себе Гоголь, спускаясь по лестнице возможно медленней, чтобы на несколько хоть мгновений отдалить

ожидаемую ужасную весть, а на пороге директорской квартиры приостановился, чтобы перевести дух. «Ну, чему быть, того не миновать!»

Стиснув зубы, сдвинув брови, он перешагнул порог.

Глава восемнадцатая

Осиротел

Орлай в видимом возбуждении, с понурой головой шагал по своему кабинету и заметил вошедшего пансионера только тогда, когда подошел к самой двери. Окинув мальчика быстрым взглядом, он молча и бережно взял его за руку, подвел к дивану и усадил рядом с собой. Вся эта безмолвная торжественность не предвещала ничего доброго.

— Вот что, дорогой мой, — заговорил Иван Семенович необычайно серьезно и в то же время отечески-ласково, как бы затрудняясь, с чего начать. — Изволите видеть... Всякое органическое создание на нашей планете — будь то растение, животное или человек — имеет свой земной предел, его же не перейдешь. Всякий из нас — и вы, и я, и все нас окружающие — с момента нашего рождения вперед уже, можно сказать, обречены к смерти. Еще Сенека говорил: «Ты умрешь неминуемо уже потому, что родился. Гораций в оде к Люцию Сексту, как вы может быть припомните, выражается в том же духе...

— К чему все это, Иван Семенович? — тоскливо прервал тут директора-филолога Гоголь. — Скажите просто: папенька умер?

Орлай остолбенел; потом с живостью обнял мальчика, точно опасаясь, что тот лишится чувств.

— Вы, Николай Васильевич, верно, виделись уже с посланцем из деревни?

— Нет; но папенька давно хворал и имел предчувствия. Так это правда: он умер?

Вместо ответа Иван Семенович схватил с соседнего стола стакан сахарной воды, заранее, видно, уже приготовленный, помешал в нем ложкой и подал Гоголю:

— Выпейте! Это очень успокаивает; я сам по себе знаю.

Гоголь отстранил было стакан рукой и хотел приподняться, но Орлай не допустил его до этого и приставил стакан к губам его:

— Сидите и пейте!

Пришлось повиноваться; две выступившие на ресницах юноши слезы были единственными наружными знаками его душевного потрясения. Сморгнув их, он спросил каким-то чересчур уж бесстрастным тоном:

— А когда и как это случилось?

— Скончался он несколько дней назад, и не дома у себя в деревне, а в Лубнах, где лечился. Да вот маменька ваша прислала вам письмо: вероятно, найдете в нем подробности.

Потробностей в письме Марьи Ивановны, однако, никаких не оказалось. Все оно заключалось из нескольких бессвязных, горьких фраз. Это был вопль отчаяния окончательно растерявшейся матери семейства, лишившейся в муже главной опоры в жизни. В последних строках своих глубоко религиозная женщина призывала на сына благословение божие и выражала уверенность, что всевышний поддержит в нем всегдашнюю его твердость духа перенести безвозвратную потерю.

— Ну, что? — спросил Орлай, не сводивший глаз с читающего.

— Ничего особенного... — пробормотал Гоголь и прокашлялся, потому что из глубины груди что-то неудержимо подступило к горлу. — Кто привез письмо, Иван Семенович?

— Дворовый человек ваш Федор.

— Можно мне порасспросить его?

— Конечно, можно.

Иван Семенович позвонил и велел кликнуть Федора. Тот, войдя, тут же бухнул в ноги панычу, сидевшему еще на диване, обнял его колени и принялся целовать ему руки, орошая их горючими слезами.

— Батечку панычeньку! Один ты у нас теперечки кормилец... Ох, горечко наше тяжке.

— Ну, будет! Как тебе, братец, не стыдно? Не баба, слова богу, — говорил паныч, которому при виде искренней горечи крепостного человека хваленая «твердость духа» готова была наконец также изменить. — Расскажи-ка все, как было, по порядку.

— По порядку? — повторил Федька, послушно приподнимаясь с пола и утирая рукавом увлажненные слезами щеки. — Давненько ведь уже хворать изволил у нас покойный — о-хо-хо! Да не очень-то доверял, знать, этим аптечным лекарственным снадобьям. Наездом разве в Кибинцах с дохтуром тамошним потолкует, возьмет от него лекарства, а сам потом и не принимает. Но тут, недель этак с пять назад, кровь у него горлом пошла. Последнее дело! Хошь не хошь, заложили бричку,

поехали в Кибинцы. Ох, и не хотелось же ему в те поры ехать, сердешному!

— Что же, верно, предчувствие у него опять было?

— Стало, что так: кому охота в чужих людях помирать! Но как и барыне не так-то можилось, — сама травку пила и не могла с ним ехать, — то он наперед уже ее, голубоньку, успокаивал: «Не тревожься, мол, матушка, по-пустому, может, и долго там пробуду, но постараюсь вскорости вернуться...» Да так и не суждено ему было, горемычному!

Проглотив всхлип, Федька повертел кулаком в глазу, с ожесточением дернул длинный мокрый ус и сердито продолжал:

— И выдалась же, как на зло, дорога нам каторжная, прости господи: самая, что ни есть, распутица весенняя! Грязь по ступицу колесную. До Яресок еле дотащились и заночевали...

— До Яресок? Но ведь туда от нас всего шесть верст?

— А вот поди-ж ты! Да с распутицей бы еще с полугоря; но у папеньки от тряски дорожной, окромя прочего, еще и грудь нестерпимо заломило. Не сидится ему, вижу, в бричке: то выпрямится весь, то рукой за грудь схватится, и все-то тихонько про себя стонет. «Может, — спрашиваю, — сидеть тебе, милый пане, не хорошо?» — «Нет, очень хорошо, — говорит, — но грудью страдаю ужасно!» Да кабы ты, панычу, слышал только, как у него это вымолвилось: «Ужасно!» — все бы нутро в тебе перевернулось.

— И так уже перевертывается... Не расписывай, пожалуйста! — с подавленным стоном перебил рассказчика паныч. — Ну, и добрались наконец до Кибинец?

— На вторые сутки к ночи кое-как добралися. Думали спервоначалу полечиться там малость, недельку этак одну-другую, да и назад. Ан не тут-то было! Осмотрел его дохтур, головой покачал. «И полгода, мол, дай бог бы на ноги поставить». Как быть? В Кибинцах у них, сам знаешь, народу приезжего круглый год не оберешься, чистый базар: шум, веселие, игрища всякие. А больному человеку до игрищ ли? И положили перебраться в Лубны: благо, всего двадцать верст оттоле, да уездный город, и дохтур-то знакомый, господин Голованев...

— А Дмитрий Прокофьевич, что же, так сейчас и отпустил больного?

— Не хотел отпускать: всей душой ведь любил тоже покойного, заманивал его бостончиком, да как папенька сам оченно уж настаивал, то его высокопревосходительство отрядили отца Емельяна вперед его в Лубны к господину Голованеву договорить квартиру. Домой папенька тем часом отписал маменьке, чтобы выслать ему в Лубны всяких

домашних припасов, а буде можно — и повара; отписал еще: как плотину уберечь приказчику от половодья; что изготовить к Светлому Празднику, что — к ярмонке, — словно перед кончиной своей весь дом свой хотел устроить. Да так вот и проститься-то со своими на смертном одре не довелося, не токмо что нарадоваться на маленькую доченьку, что тем временем в Васильевке бог ему послал.

— Как? — вскричал Гоголь, вскакивая с дивана. — У нас еще одна маленькая сестрица?

— Да-с, недели две уже тому будет. Татьяной, Танечкой в купели окрестили.

— Бедная маменька! — вырвалось у сына. — А тут еще похороны мужа... Иван Семенович! не отпустите ли вы меня к ней в деревню?

— Охотно отпустил бы, милый мой; но погребение вашего папеньки, вероятно, уже состоялось...

— Точно так, — подтвердил Федька, — вчерась поутру его должны были погребсти...

— Вот, — сказал Орлай. — Маменьку же свою вы и без того увидите на летних вакациях, до которых уже недалеко. Утешить ее может только время; а для вас, Николай Васильевич, теперь перед экзаменами всякий день дорог и самым верным утешением будут служить усиленные занятия. Labor improbus omnia vincit [35].

Гоголь не мог не признать справедливости замечания директора.

— Так я пойду опять в музей, Иван Семенович... — глухо проговорил он и закусил губу, чтобы не совсем распустить нервы.

— Ступайте, мой друг, и главное — не предавайтесь слишком вашему горю; слезами беды все равно не поправите.

— Я, Иван Семенович, не плачу.

— Вижу и только удивляюсь такой силе воли в ваши годы.

Не так взглянуло на сдержанность Гоголя большинство его товарищей. Не зная еще настоящей причины его вызова к директору, они при возвращении его в музей обступили его с вопросами: зачем-де его вызывали?

— Отстаньте, ради Христа! — уклонился он от ответа и, не взглядывая, направился к своему рабочему столу, где стал рыться в книгах.

— Да у нас, Яновский, заклад идет, — не отставали от него любопытствующие, — жаловался на тебя Зельднер или нет?

— Нет, у меня отец умер.

Проронил он это как бы между прочим, невзначай, таким отрывисто-сухим тоном, что товарищи озадаченно оглянулись: что это, опять одна из его глупых шуток? Но шутка совсем уже неуместная, возмутительная!

Один Данилевский, знавший своего друга детства ближе, готов был ему поверить и участливо заглядывая ему в лицо, осведомился: правда ли это?

— Правда… — отвечал Гоголь, не поднимая глаз, в которых навертывалась снова непрошенная сырость. — Сейчас пришло письмо от маменьки… Однако пропусти-ка.

И схватив ворох книг, он без оглядки удалился из музея. Вслед ему поднялся общий ропот:

— Нет, каков ведь! Отец родной помер, а он хоть бы что, как с гуся вода, даже не прослезился!

— Не всякому, господа, дано заливаться сейчас слезами, — вступился за ушедшего Данилевский. — Он из тех людей, которые всякое горе свое замыкают внутри себя.

— Значит, скрытная, холодная натура!

— Скрытная, но не холодная. Чем скрытней человек, тем глубже он обыкновенного чувствует. Но он дорожит своими священными чувствами и не выносит их на базар, где всякий мог бы трепать их.

В справедливости этого замечания старейшего друга Гоголя, несколько минут спустя, убедился его новейший, но более зрелый друг, Высоцкий, когда пошел его отыскивать и нашел в спальне. Гоголь лежал ничком на кровати, уткнувшись в подушку. Всхлипов не было слышно, но спина его нервно вздрагивала.

— Полно, дружище, — тихо проговорил Высоцкий, успокоительно кладя руку на голову своего расчувствовавшегося друга.

— Да я ничего… я так… — отозвался Гоголь, не показывая, однако, лица.

— И отлично. Мне, видишь ли, надо в город; так не пойдешь ли ты со мной?

— Нет, не хочется…

— Ну, пойдем! В таких случаях не мешает проветриться.

Гоголь стал было еще отнекиваться, но Высоцкий настоял на своем и без труда выхлопотал затем у дежурного гувернера для себя и Гоголя двухчасовой отпуск в город.

Пора для прогулки стояла благодатная — конец апреля. Немощеные улицы Нежина, ранней весной и поздней осенью представлявшие непролазное месиво, настолько уже просохли, что наши два приятеля, засучив панталоны выше щиколки и перепрыгивая с одного сухого места на другое, довольно благополучно добрались до местного Невского проспекта — Московской или Мостовой улицы, единственной в то время замощенной, но не камнем, а бревнами, положенными поперек дороги и гулявшими под экипажными колесами по мягкому грунту наподобие клавикордных клавиш. Веявший в лицо свежий ветерок почти восстановил нарушенное душевное равновесие Гоголя, но фланировавшая взад и вперед по деревянным мосткам, вдоль ряда лавок, от угла Магерской улицы до базарной площади, праздная толпа местного «бомонда» своим беззаботным говором и смехом снова его взволновала.

— Уйдем отсюда куда-нибудь подальше! — сказал Гоголь, морщась, — эта чужая веселость для меня как нож к горлу; точно они издеваются надо мной!

— Куда ж идти? Разве на греческое кладбище? Там теперь должно быть чудесно: зелень уже распустилась…

— Пойдем: среди мертвых, может быгь, отдохну душой от живых.

И они взяли путь через базар обходом на отдаленное, расположенное на другом конце города, греческое кладбище.

— Иди, брат, иди, я догоню тебя, — сказал Высоцкий, останавливаясь перед торговкой-еврейкой с яблоками, до которых, как знал он, Гоголь был большой охотник.

Но выбор съедобных еще яблок между массой гнилых, которые продувная дочь израилева старалась незаметно подсунуть молодому покупателю, потребовал столько времени, что, когда Высоцкий рассчитался с продавщицей, приятеля его и след простыл. Ускорив шаг, он нагнал его только на середине моста через реку Остер, отделяющую главную часть города от пригорода.

Опершись обеими руками на деревянные перила моста, Гоголь так упорно загляделся вниз, в протекавшую под мостом воду, что не расслышал даже шагов подходящего к нему Высоцкого. Тот с недоумением перегнулся также через перила, чтобы узнать, что могло так приковать внимание его друга. Но чрезвычайного там ничего не оказалось, разве лишь то, что Остер, в летние месяцы высыхающий до

состояния чуть не ручья и покрывающийся тогда зеленой «ряской», недавно вскрывшись от ледяной коры, был еще так многоводен, что на нем разъезжали даже три-четыре лодки.

— Чего ты там не видал, дружище? — прервал Высоцкий размышления друга.

Гоголь не переменил положения, не повернул даже головы.

— А вот соображаю, — отвечал он, — если прыгнуть отсюда с моста — можно ли потонуть, или нет?

Говорил это с таким оттенком безнадежности в голосе, что Высоцкий слегка даже всполошился.

— При желании можно потонуть и в луже, — отозвался он тем саркастическим, убежденным в своей непогрешимости тоном, который на других пансионеров оказывал всегда неотразимое действие, — стоит только окунуться лицом и задержать дыхание, пока не захлебнешься. Но ты-то, Яновский, и здесь, в реке, не потонешь.

— Почему нет?

— Потому что, попав в эту ледяную ванну, тотчас караул закричишь.

— Ну, нет, не закричу. Столько-то у меня хватит силы воли. В первый момент, правда, будет очень холодно: но как только окоченею, так — полное, вечное забвение...

— Так что и не заметишь, как всплывешь опять наверх, — подхватил Высоцкий, — как тебя вытащут на берег, как поволокут в полицию, разложат на столе и станут потрошить, чтобы узнать подлинную причину твоей смерти. Заманчивая, брат, перспектива!

Стрела попала в цель. В немногих, но резких чертах нарисованная Высоцким «перспектива», ожидающая утопленника, настолько расхолодила, отрезвила Гоголя, что он разом оторвался от перил и большими шагами пошел обратно в город.

— Куда же ты, Яновский? — спросил, догоняя его, Высоцкий, — ведь мы хотели же с тобой на греческое кладбище?

— Я раздумал, — отвечал, не замедляя шага, Гоголь. — Ступай один и оставь меня...

— Я тебя так, извини, не могу оставить.

— Можешь преспокойно: ничего я над собой уже не сделаю. Но прошу тебя, Герасим Иванович: оставь меня! И, пожалуйста, никому обо мне ни слова!

— Само собой. Но облегчи мне хоть карманы: я нарочно накупил для тебя яблок.

— Спасибо, душа моя; ей-богу, не хочется.

Высоцкий не нашел уже нужным настаивать и издали только следил за молодым другом. Опасаться ему, действительно, было нечего: проходя мимо церкви, Гоголь вошел туда и пробыл там около получаса, после чего твердым шагом, с поднятой головой возвратился ближайшим путем в гимназию.

На другое утро дворовый Федька повез в Васильевку письмо такого содержания:

«Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; однако ж не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою; но бог удержал меня от сего. Вы одна теперь предмет моей привязанности, одна, которая можете утешить печального, успокоить горестного. Вам посвящаю всю жизнь свою. Буду услаждать ваши каждые минуты. Сделаю все то, что может сделать чувствительный, благодарный сын.»

В следующем письме сын жаловался, что не получает от матери ни строчки:

«Вы не знаете, что причиняете мне своим молчанием; вы не знаете, что отравляете каждой минутой мою жизнь. Считаю каждую минуту, каждое мгновение, бегаю на почту, спрашиваю: есть ли хоть малейшее известие? Но, вместо ответа, получаю «нет!» и возвращаюсь с печальным видом в свое ненавистное жилище, которое с тех пор мне опротивело. Одна только мысль меня немного подкрепляет, немного утешает горестного: скоро каникулы, и я увижусь с вами...»

От товарищей, кроме одного Высоцкого, Гоголь по-прежнему тщательно таил свой внутренний мир, но отношения его к ним заметно изменились: никого он уже не задирал, а в свободные часы сторонился даже ближайших друзей своих и искал уединения в самых отдаленных местах обширного гимназического сада. И в настоящее время в этом саду указывают группу ветвистых старых лип, на одной из которых, по преданию, спасался наш схимник либо с книжкой, либо с карманной тетрадкой, в которую заносил карандашом кое-что, не предназначенное для других. Только в одном из дальнейших писем к матери он проговорился, что привез ей, кроме «хорошеньких картинок своей работы», еще и «несколько своих произведений».

Смерть отца произвела в беззаботном школяре, очевидно, серьезный нравственный перелом, почти совпавший с переломом в его школьной жизни — переходом на университетский курс, и, так сказать, подготовила в нем для этого курса духовную почву.

Послесловие

Эта книга была написана и издана сто лет назад. Ее автор всю жизнь преподавал русскую словесность в гимназии, и его литературные опыты во многом предопределены этим занятием. Он создал не научную биографию писателя и не роман высокой художественной ценности. Задача автора была намного скромнее: описать жизнь молодого Гоголя в форме связного повествования, легкого для чтения, не пугающего излишней сухостью и ученостью, с минимальными притязаниями на какую-либо особую художественность, но доступного для юного читателя-учащегося. Словом, сделать книгу по возможности интересную для гимназиста, но выступающую в то же время как дидактический и познавательный материал, дополняющий представления о русской классике.

Нельзя предъявлять к книге требования, превышающие авторские задачи. С позиций академических исследований биографии писателя многие моменты в книге Авенариуса не выдерживают критики; немного наивными и старомодными смотрятся и приемы, которыми автор пользуется, чтобы оживить свое повествование. Возможно, это не самый достоверный источник биографической беллетристики, но книга о Гоголе для юношества все-таки была создана, много раз переиздавалась, и по ней получали свои первые представления о личности великого писателя два-три поколения русских читателей. Потом книга Авенариуса была забыта, но, увы, в литературе не появилось ничего, что могло бы достойно занять ее место. Попытки написать книгу о писателе для молодежи были и позже, необходимость создать книжку с новым освещением фигуры писателя в противовес «устаревшему» и «старорежимному» ощущалась остро, но новые книги такого рода (например, книга Ю. Гаецкого) оказывались вторичными по отношению к книге Авенариуса своей фактографией, а новизна освещения и осмысления фактов не являлась преимуществом книг новой, советской эпохи. И теперь, когда совсем новых работ о Гоголе для читателя соответствующего возраста нет, и можно говорить лишь о переиздании чего-либо из старых сочинений, Авенариус имеет несомненный приоритет перед своими последователями.

Почему?

Книга Авенариуса при всех ее слабостях обладает свойством, впоследствии совершенно утраченным, — свободой интонации. Почтительная дистанция с героем — великим писателем — не мешает

автору видеть его характер объемно, во всем многообразии его непростых проявлений, и называть вещи своими именами. Нет попыток подправить, подчистить историю, подлакировать образ, привести его в соответствие с официальной точкой зрения, подтянуть бытовые черты облика писателя к его литературному величию. А именно этим усердно занимались биографы писателя в позднейшее время, — и в этом не только их вина. Сам дух эпохи обязывал подтягивать образ писателя «до уровня», делать из него весельчака, оптимиста, бодрого литературного и театрального функционера, задорного общественного деятеля. Историческое искажение представлений о личности писателя отразилось не только в биографиях — даже памятник Гоголю в Москве был подменен, — грустный, немного понурый Гоголь оказался чуждым эпохе и был заменен на «правильного», жизнерадостного и энергичного.

Молодой Гоголь очень плохо вписывается в стереотипный, хрестоматийный образ юного гения. Робкий, замкнутый, не блистающий успехами в учебе и не проявляющий особых творческих талантов — ничем он не обещал будущего великого писателя. Добросовестно изобразить его таким для автора биографической книги сложно, очень велик соблазн обвинить окружение писателя в том, что они просто недопоняли, не разглядели, недооценили… Ценность книги Авенариуса в том, что он свободен от искушения приукрасить историю, от ложно понятого почтения к герою и — в отличие от своих последователей — от официальной установки на «правильное» изображение писателя. Он свободен, и в книге заурядность названа заурядностью, нелюдимость — нелюдимостью, посредственность — посредственностью. Это другой Гоголь, не совсем тот, который внедряется в сознание школьной программой, который создавался искусственно в угоду сиюминутному политическому лозунгу.

И оттого, что образ Гоголя, человека необычного характера и причудливой судьбы, написан правдивее, он, к нашему удивлению, не утратил масштабности. Наше почтение перед гением писателя не померкнет, если мы узнаем о том, что его юношеские сочинения действительно были посредственны, а характер не всегда располагал окружающих.

Книга Авенариуса не потеряется во времени. Она напоминает читателю об объективности и непредвзятости в творческом процессе, о свободе и независимости мнений, учит представлениям о сложности человеческой натуры и своеобразии проявлений таланта.

Лев Магазаник

Примечания

1

В Нежинской гимназии высшим баллом было 4.

2

Ну! что же! *(фр.)*

3

Дамоклов меч хорошо известен, он привиделся мне во сне за столом *(фр.)*

4

Господа, к столу! *(нем.)*

5

Куда, куда, мой дорогой? *(нем.)*

6

Стой! Стой! *(нем.)*

7

Ладно! *(нем.)*

8

Куда, куда, господа? *(нем.)*

9

Божьей милостью *(лат.)*

10

другими словами *(лат.)*

11

О, будет, любезнейший! Платон мне дорог, но правда дороже *(лат.)*

12

Речь идет о стихотворении Беранже «Добрая фея». Мы приводим начало стихотворения в переводе В. Курочкина:

«Некогда, милые дети,

Фея Урганда жила,

Маленькой палочкой в свете

Делав большие дела.

Только махнет ею — мигом

Счастье прольется везде...

Добрая фея, скажи нам,

Где твоя палочка, где?»

13

Стихи Сумарокова.

14

Из-за алтаря и очага *(лат.)*

15

Вне Венгрии нет жизни, а коли есть, так не такая... (лат.)

16

Шапки долой! шапки долой! Слава маркизу Карабасу! *(фр.)*

17

Из «Наталки-Полтавки» Котляревского.

18

Приведенное в кавычках взято буквально из подлинных «кондуитных списков» нежинской гимназии.

19

Ну, скоро ли? Но что с вами, Яновский? *(нем.)*

20

О, мой отец!.. В Прагу! *(нем.)*

21

Дорогой отец *(нем.)*

22

Трудно не написать сатиры *(лат.)*

23

Некоторым читателям, быть может, будет небезынтересно по настоящему случаю припомнить сделанное самим Гоголем описание «гусара», которое поэтому выписываем здесь дословно:

«Дамы (просто приятная и приятная во всех отношениях) умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши в просонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившейся речкой там и там пропадающей блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, — и потом уже наконец чувствует, что в носу у него сидит гусар».

Когда из-под пера Гоголя вылились эти живописные строки, в памяти его, несомненно, рисовалась подобная же сцена из его собственного детства в нежинской гимназии, окна которой выходили в густой сад, омываемый заросшим тростником Остром.

24

Моя вина *(лат.)*

25

О мертвых (говорят) либо доброе, либо ничего, а по-моему, и про живых. *(лат.)*

26

Да, да, дорогой друг. Об этом мы позаботимся *(нем.)*

27

Впоследствии один из биографов Гоголя (П. Кулиш) разыскал в летописях указание, что один из прямых, будто бы, предков Гоголей-Яновских, казацкий гетман Остап Гоголь, отличился в 1655 году в битве при Дрижиполе, а затем был и полномочным послом польским в Турции.

28

Варена — подогретая водка с медом и пряными кореньями.

29

Из «Наталки-Полтавки»

30

Пожалование это состоялось 8 августа 1795 года.

31

Святейший отец *(лат.)*

32

Мой дядя *(фр.)*

33

Всему есть мера, любезнейший *(лат.)*

34

Стой! *(нем.)*

35

Неутомимый труд все поборет *(лат.)*
